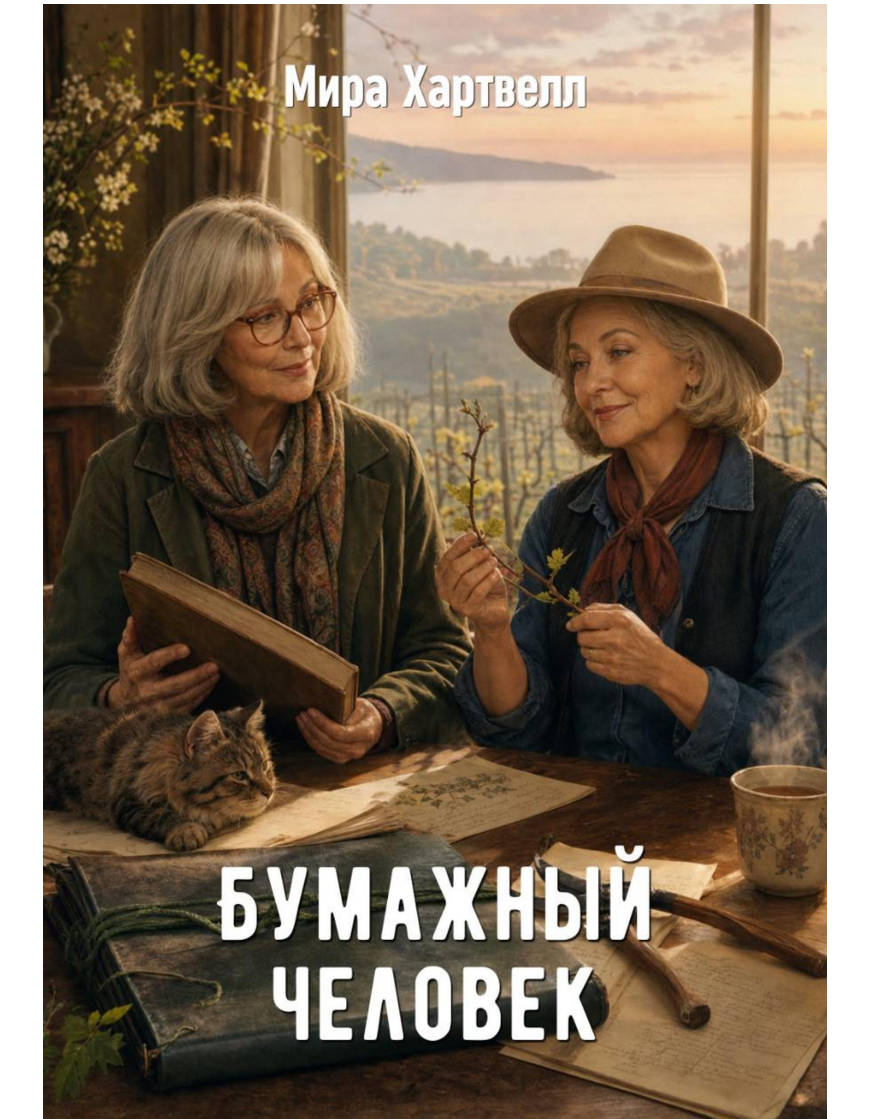




Мира Хартвелл

БУМАЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Мира Хартвелл

Бумажный человек

<https://litres.ru/74644034>

SelfPub; 2026

Аннотация

В Золотую Бухту приезжает незнакомец с чемоданом и предложением, которого здесь никто не делал: старые городские долги — за наличные. Он выкупает расписки и долговые книги, не торгуясь и не требуя ничего взамен, — будто собирает не деньги, а бумагу.

Радость города кончилась быстро: ночью покупателя находят мёртвым на ступенях винной лестницы погреба Эшфорда. Сердце — о котором он знал годами и не спорил. Было бы просто судьбой, не начни хранительница городского архива Элеанор Хейс сверять опись: в зелёной коробке умершего тридцать шесть расписок, а в его же списке — тридцать четыре. Две в коробку подложили после его смерти.

Третья книга серии «Золотая Бухта» — о долгах, стыде и о том, почему бумага держит крепче, чем слово.

Содержание

Глава 1. Открытие сезона	4
Глава 2. Поместье	18
Глава 3. Человек, которого любит город	32
Глава 4. Призрак поместья	46
Глава 5. Афиши и речь	61
Глава 6. Две ночные смены	75
Глава 7. Утро в 6:40	88
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Мира Хартвелл

Бумажный человек

Глава 1. Открытие сезона

Элеанор открыла книжный в семь тридцать, когда над Золотой Бухтой ещё держался солёный туман, а свет только-только дошёл до мокрых крыш. Южная весна в этом году шла с опозданием: виноградники на холме стояли голые, у плетей только набухли почки, и туман полз по улице неохотно, как нежеланный гость. Внутри пахло свежей бумагой и кофе, который Сара, продавец в книжном, с вечера оставляла греться для тех, кто приходил к открытию за час. Свет в это время был такой, что витрину хотелось протереть, и Элеанор протёрла.

Полки были вытянуты по росту: детская — низко, поэзия — на уровне локтя, чтобы брать наугад, морские справочники — под потолком, где им и место. На прилавке стояла рассада из кооператива: двенадцать ящиков, маркер на боку, ценники написаны почерком Джоша — таким почерком можно писать на стене, но не на бумаге. От ящиков поднимался влажный запах земли, неуместный среди книжной пыли и оттого живой. Рассада переживала третью ночь вне теплицы и держалась достойно, а ценники Джош переписал

дважды: первый раз крупно, второй — честно.

Опись книжного фонда лежала на столе, и на ней лежал Барнаби — серый, круглый, неоспоримый: сама опись, только в мехах. Миска у двери была вылизана до блеска, так что утренние обязанности кота считались выполненными.

Сара прошла мимо с подносом, на котором дрожали ещё тёплые булочки с корицей, и запах добрался до самой описи. Кот шевельнул ухом — единственная уступка.

— Он не встанет. Ты же знаешь, что он не встанет.

— Я знаю, я три года знаю, что он не встанет. Просто опись под ним мокнет со всех сторон, а подписать её надо до девяти.

Поднос опустился на стол рядом с котом.

— Тогда разбуди его.

— Он не спит, он проверяет, — ответила Элеанор.

— Он мурчит, а проверяющие не мурчат, — Сара расставила овсяное печенье в корзинке у кассы.

Элеанор сделала глоток травяного сбора — лимонник с мёдом, по рецепту Джесс — и посмотрела на часы.

Весенний выпуск подкаста нужно было записать к пятнице, и в нём по традиции должна была прозвучать рубрика «Книги Тома» — отрывок из воспоминаний Тома, мужа Элеанор, который умер шесть лет назад. Том диктовал их в больнице, между процедурами, и жалости к себе в голосе не было — только радость человека, который наконец записывает всё, что успел увидеть. Записи хранились в той же коробке,

что и свадебные фотографии, — Элеанор считала это разумным распределением архива. Сара слушала эти куски молча, а потом всегда спорила, и Элеанор давно перестала возражать: в споре Сара была права чаще.

Сара придвинула термос вплотную к её локтю.

— Ты же не будешь опять читать то самое.

— Не буду. В этот раз будет про то, как в Бухте прячут книги туда, где им, по мнению хозяев, самое место.

— В сараи с инструментами, — угадала Сара.

— В сараи с инструментами, — подтвердила Элеанор. — Я однажды вернула владельцу полное собрание Толкина из коробки с удобрениями. По словам владельца, удобрение было метафорическим.

— Метафоры здесь пахнут навозом, — без обиды подытожила Сара.

— И это никого не смущает, кроме тебя.

Через дорогу распахнулась дверь кофейни Джесс, и на тротуар вылилась очередь из рыбаков в резиновых сапогах, пахнущих солью и дизелем. Из приоткрытой створки тянуло жжёным сахаром, и кто-то уже нёс поднос со свежими сырными роллами. Первые в сезоне маффины с кумарой разошлись до восьми, и Джесс переживала это вслух. Утренние покупатели брали стаканы с собой и уходили, шурясь на воду. Голос Джесс пробивался даже сквозь стекло; Элеанор подошла к окну и открыла его.

— Доброе утро, — крикнула Джесс, не оборачиваясь.

— Кофе будет через четыре минуты, а если кто-то скажет «быстро», я вспомню, как он в прошлом году брал три сиропа и не поблагодарил.

— Джесс, — откликнулась Элеанор, — а как тебе конкурс?

— Какой ещё конкурс? — отозвалась Джесс, вытирая руки о фартук.

— Выпечка, — вставила Элеанор, глядя на доску объявлений.

— В субботу, — бросила Джесс с другого края кофейни. — Кто его будет печь, я и так знаю, поэтому не начинай.

Конкурс был её идеей, хотя оформлен объявлением на доске у кофейни: выпечка к празднику, обязательно с ревенем, призовой пакет из продуктов и право первым выбрать книгу в книжном. Джесс объявила это, повесила бумагу и с тех пор ссылалась на неё как на документ, подписанный лично королевой. Бумага для объявления ещё обсуждалась, а приз уже был освящён.

— Ревень, — напомнила Элеанор, возвращаясь к прилавку.

— Ревень — это серьёзно, — Джесс подняла палец. — Это не яблочный пирог: яблочный — это про вежливость. А павлова с киви — это уже про характер.

— Ты это уже говорила, — заметила Элеанор.

— Я много чего говорю дважды. Некоторые вещи стоит повторить, потому что в первый раз никто не услышал, а во

второй — слышали и сделали вид, что не слышали.

— Послушай! — Джесс вышла на середину улицы, отдуваясь от жара плиты. — Мне для объявления нужна бумага, которая не размокает на дождях. У тебя в книжном что-нибудь есть?

— У меня есть сто двадцать листов. Они пять лет лежали на нижней полке, придавленные словарём устаревших слов, и за пять лет на них никто не посмотрел, так что продам дешевле.

— Пять лет — это не уценка, это хранение, — Джесс загнула палец, будто ставила цену. — Принеси десять штук, я понюхаю. Если пахнет кислым — не подойдёт.

— Откуда ты знаешь, как они пахнут?

— Оттуда, что я двадцать лет печатаю меню на чём придётся, — Джесс грохнула дверцей кофемолки. — Кислый запах — это значит, что сгнил клей, а на дожде такая бумага отклеится.

Элеанор записала в блокнот: «Десять штук с нижней полки, понюхать; кислый запах — брак». До праздника «Цветение и лоза» оставалось шесть недель, а объявление ещё не было напечатано. Тревор обещал успеть к четвергу, — но это будет Тревор, который говорит «успею» и привозит не то.

В девять Сара позвонила с верхней книжной полки, не слезая с неё:

— Тревор, — Сара понизила голос, как понижают его в очереди к врачу. — Идёт через дорогу, несёт пачку.

— Он что-то у нас забыл вчера? — поинтересовалась Элеанор, отложив ведомость.

— Он ничего не забывает, он приходит, когда надо прийти.

Тревор Уилер вошёл так, как входит человек, который всю жизнь работал с тяжёлыми станками: чуть наклонившись, привыкая к помещению поменьше, чем его мастерская. От него пахло опилками и машинным маслом, и это было честнее любых слов. Пачку афишной бумаги он поставил на стол бережно, двумя руками, как кладут ребёнка в кроватку. Шапку он снял ещё с порога и держал у груди, как школьник, вызванный к доске. За его спиной в дверном проёме остался мокрый полукруг — сентябрь уже успел набежаться по мостовой.

— Свежая, — Тревор подложил ладонь под стопку. — Плотная, держит краску, не размокает на ветру.

— Спасибо, но почему так рано — ты обещал к четвергу?

— Потому что в четверг я тебе отдал бы не ту.

Элеанор подняла голову от блокнота и прищурилась.

— Что значит «не ту», Тревор?

— Значит, что вчера вечером у меня в мастерской стоял человек и объяснял, как печатать, — Тревор почесал затылок, оставив на воротнике стружку. — Имя он назвал одно: Мартин Хейл, живёт в Золотой Бухте, винный брокер.

Элеанор перестала записывать и посмотрела на него поверх блокнота.

— Он был у тебя, в мастерской?

— Двадцать минут, — Тревор помолчал, подбирая слова.

— Вежливый человек: дал понюхать листок, оставшийся от зимнего тиража, и вынес приговор — впитывает, краска расплывается. А ему нужна такая, которая держит краску и не размокает под дождём.

— Он что, разбирается в бумаге?

— В его исполнении «впитывает» и «держит краску» — это много. Для брокера, который занимается вином, особенно.

— И всё? — не унималась Элеанор, которая уже поняла, что это не всё.

— Не всё: он ещё посоветовал печатать афиши заранее, а не в последнюю неделю, потому что за неделю до праздника половина мастерских занята чужими заказами — и дал мне деньги.

— Сколько он дал, — уточнила Элеанор, — если не секрет?

— Столько, что я не стал считать вслух.

Тревор вынул из кармана конверт, положил на стол и пересчитал деньги дважды — не быстро, не небрежно, а с той сосредоточенностью, с которой проверяют вес. Каждую купюру он гнул пополам и слушал.

— Много дал, — заметила Элеанор, глядя на конверт.

— Он и сдачи не брал.

Элеанор занесла в блокнот: «Хейл был у Трево́ра вчера

вечером, аванс наличными, просил не удивляться». Почерк у неё был обычный, но строчка вышла короче, чем она рассчитывала, и она не стала её переписывать.

— И зачем ему всё это, объяснил?

— Приехал посмотреть, как у нас обстоят дела с вином. А про афиши добавил только: ветер будет.

— И это всё, что он говорил? — не удержалась Элеанор.

— Нет, конечно, — замотал головой Тревор. — Ещё при-
совокупил: «Если что-то будет выглядеть не так, скажите
мне, я переделаю». Вот это я не понял — у меня и так всё так.

Тревор ушёл, и колокольчик звякнул за спиной, тронутый сквозняком.

Дверь книжного открылась снова, и вошёл человек в тёмном пальто, державший шляпу обеими руками — бережно, как переносят прибор. От него не пахло ни бензином, ни спиртным, только дорогой водой и чем-то бумажным. Лицо у него было вытянутое, спокойное, из тех, что забыть несложно, а вспомнить трудно. Так выглядят люди, которые привыкли входить в чужие жизни без стука.

— Доброе утро, — произнёс он, положив шляпу на стол. Голос у него был негромкий и с той аккуратной ровностью, которая бывает у людей, привыкших, что их слушают.

— Доброе утро, — ответила Элеанор, не отрываясь от описи. — Кофе есть, книги есть, кот есть. Для полного счастья не хватает только кофейника.

Улыбка у него включилась мгновенно — аккуратная, как

подписать на официальном документе.

— Кофейник, — согласился он, — и, возможно, ещё карты.

Представился он Мартином Хейлом: с севера, винный брокер, по собственным словам — «проверить, как у вас обстоят дела с вином». Элеанор махнула рукой в сторону кресла у окна и ушла за каталогом: человеку, который зашёл в книжный в самый разгар утреннего кофейного часа, нужна хотя бы видимость задачи. Кресло приняло гостя без единого скрипа.

Он спрашивал обо всём понемногу: где хранятся старые карты причала, какого года выпуска последний атлас, кто из местных читает на латыни. Про праздник он осведомился вежливо и мимоходом, как спрашивают о погоде, на которую всё равно придётся смотреть. Отвечал ровно, ни разу не переспросил, и в этой вежливости было столько внимания к собеседнику, что к третьему ответу Элеанор поняла, что её рассматривают — приветливо, но внимательно, как рассматривают дом, в котором собираются жить. Про цены он не спросил ни разу. За этим следили обе женщины, каждая по-своему, и обе не ошиблись. С утра не было ни одного покупателя, и отсутствие торговли работало на наблюдение. Каталог краеведения он полистал без просьбы и положил ровно туда, откуда взял.

— Барнаби обычно ревнует к новым людям, — Элеанор провела ладонью по спине кота, который действительно не

двигался.

— Никаких чувств, — Хейл покосился на кота.

— Нет, он ревнует, но виду не подаёт, — согласилась Элеанор.

Сара принесла ему кофе в керамической кружке, которую сама называла «кружкой для серьёзных разговоров» и которая была правда серьёзной: тёмно-синяя, с трещиной по краю, подобранная с вкусом. Хейл поблагодарил её и назвал по имени, хотя Сара ещё не успела представиться. Элеанор отметила это и промолчала. Кружку он поставил на блюде, а не прямо на записи, и это заметила даже Джесс через дорогу.

Перед полуднем он ушёл — к Джесс, к «Медному чайнику». Платил наличными и клал на стол столько, что сдачи не требовалось. Джесс взяла с него вдвое за второй стакан и не почувствовала ни малейшего раскаяния. Это тоже было отмечено, тоже не вслух.

Барнаби, лежавший на описи, проводил гостя взглядом до самой двери и не шевельнулся. Это была единственная немедленная оценка, которую Мартин Хейл за это утро получил, и Элеанор почему-то решила, что именно она окажется самой точной.

— Он не впечатлился, — Сара тем временем встала на нижнюю перекладину стремянки и принялась ровнять новинки.

— Он не впечатлился нарочно, — возразила Элеанор. —

Барнаби вообще очень редко впечатляется по чужой инициативе.

К обеду о нём знал весь квартал. Он спросил на причале, где тут продают уайтбейт, назвал двоих рыбаков по имени и знал по именам их детей, пообещал спонсировать весеннюю ярмарку, которую в Бухте давно звали просто Цветением. В «Медном чайнике» он оставил монет столько, что Джесс пересчитала их дважды и осталась при своём мнении, что это подкуп. До гуляния оставалось шесть недель, и Тревор пересчитал этот срок вслух ещё у двери, прикидывая, успеет ли.

В час он вернулся в книжный — не подавая знака, с улицы, без стука. Барнаби приоткрыл один глаз, убедился, что гость не принёс еды, и закрыл снова. На этот раз Хейл не взял с полки ничего. Он попросил опись фонда за последние два года — попросил так, как просят показать наработанное, — и Элеанор принесла тетрадь к столу: утром он спросил про ведение учёта так, как спрашивает тот, кто вёл её сам, и отказать после этого она не нашла почему. Он просмотрел её медленно, от первой страницы до последней, проводя пальцем по строкам так, как проводят по клавишам, когда ищут не букву, а ошибку. На девятой странице он задержался дольше, чем на остальных, и что там было, осталось между ним и тетрадью.

— Вы ведёте её подряд, из года в год? — спросил он, тронув пальцем край тетради.

— Подряд, с двадцать второго года, — Элеанор подвинула

тетрадь ближе к свету.

— И в пустые дни тоже?

— В пустые дни особенно, — Элеанор сложила руки на краю стола, аккуратно, как складывают карты. — Когда в книжный заходят, я не помню, кто и куда поставил. Когда почти не заходят — я в конце дня вижу, что передвинуто.

Он мотнул головой, положил опись обратно ровно на прежнее место и поблагодарил. Сара за его спиной перекладывала слойки с яблоком в коробки, и дышать было сладковато. Перед дверью он остановился и обернулся.

— А вечером вы закрываетесь рано?

— В шесть часов вечера, — уточнила Элеанор.

— А после шести кто-нибудь присматривает?

— Нет, после шести присматриваю я, — ответила Элеанор.

Хейл выпрямился — так, как выпрямляются, когда получили именно тот ответ, которого ждали. Он поблагодарил, надел шляпу обеими руками и ушёл. Элеанор на это не ответила — только смотрела, как за стеклом удаляется тёмное пальто.

— Он считает нас, — прошептала Сара, когда колокольчик затих.

— Он вежливый, — парировала Элеанор после паузы.

— Он вежливый, — повторила Сара и убрала с полки тряпку. — Это всё, что я хотела сказать, так что иди спать.

— Сара, — окликнула Элеанор её в спину. — Ты не всё

договорила.

— Я выговорила всё, что у меня было, — отрезала Сара. — Дальше я уже фантазирую, а фантазии у меня обидные для всех, в том числе для меня.

— Сара, мы оба в книжном работаем, и мы тоже считаем. Мы просто не признаёмся в этом вслух, потому что мы считаем людей, а он, может быть, считает строки.

Сара фыркнула и вернулась к своим кружкам, а Элеанор ещё минуту стояла, глядя на закрывшуюся дверь. Потом открыла блокнот на странице «весенний выпуск» и дописала строчку, которую сама тут же зачеркнула: «Работать надо не с бумагой. Работать надо с тем, что за бумагой стоит». Если бы опись умела хмуриться, она бы нахмурилась сегодня дважды.

Зачеркнула — и оставила: она давно поняла, что зачёркнутое в блокноте у архивиста — это не отмена, а вторая редакция.

Рассаду раскупили уже к четырём. Последние ящики унесли двое с холма, и Элеанор пересчитала пустые места на прилавке, потому что пересчитывать пустые места приятнее, чем думать о вечере. К этому часу туман совсем ушёл, и через витрину было видно, как у пирса швартуется вечерний паром. Пустые места она занесла в реестр с пометкой «разошлось» — это слово здесь любили.

В шесть она записала в блокнот: «Продали рассаду. Сара предлагала рубрику „Погреб недели“. Барнаби возражал

молча, по своему обыкновению. Новый человек в городе — вежливый, платит наличными, был у Тревожа накануне и у меня сегодня. К вопросу, зачем он здесь, у меня ни одного ответа, кроме одного: он очень хочет успеть к весне».

Потом, уже уходя, она записала ещё одну строчку, которая в подкаст, скорее всего, не пойдёт: «Весна пахнет чаем и страхом, что рассада замерзнет, если ты выйдешь без куртки».

Сара выключила свет, и в стекле проступил розовый закат над водой — не открытка, а просто свет, упавший на бухту. В воздухе пахло остывшей выпечкой и солью, и от этого сочетания хотелось скорейшего утра.

— Хороший день, — Сара стояла в темноте у двери.

— Так себе день, — поправила Элеанор. — Рассада разошлась, а человек за день прочитал всю нашу опись за два года и ушёл, ни слова не обронив.

— Так себе, — согласилась Сара, — но интересно.

Глава 2. Поместье

Поместье Эшфорд перешло к кооперативу «Первая лоза» в четверг, и Маргот приехала к рассвету — на два часа раньше, чем требовалось, и нарочно. Ворота ещё держала щеколда, туман лежал на склоне плотно, по-погребному, и она стояла у калитки, слушая, как в оранжерее просыпается вода. Вниз по холму тянулись ряды — теперь уже кооперативные, — и каждый из них этой ночью стал общим делом, а не её личной заботой.

В кармане у Маргот лежало направление на операцию колена — бумага, которую она прятала третью неделю, перекладывая из ящика с пробками в ящик с фуражом и обратно. Ящик с пробками был старше всех её записей в этой усадьбе: пробки из юбилейных тиражей, пробки из годов, о которых теперь напоминали одни этикетки, — и среди них тонкий официальный лист лежал, как чужой сорт в чужом купаже.

Джош вышел из тени сарая, неся ведро в левой руке; правую он вытер о фартук — жест человека, собравшегося говорить долго.

— Ты опять с этим конвертом, — бросил он вместо приветствия.

— Это не конверт, а направление на операцию.

— Направление на операцию ходит по почте, в жёлтом пакете. — Джош поставил ведро и загнул палец, отсчитывая по

одному. — А это то, что ты носишь с собой и не открываешь, и разница, Маргот, ровно в этом.

— Никакой разницы нет, — отозвалась Маргот.

— Тогда зачем ты его перекладываешь? Из ящика с пробками в ящик с фуражом и обратно. Ты перекладываешь его так, будто он тёплый. Вчера я видел, как ты перекладывала его три раза.

— Мне шестьдесят три года, Джош.

— И что с того? — не понял Джош, отставляя ведро носком сапога.

— И колено у меня не воспалено — оно перестало работать, и это другое, понимаешь? Воспаление — это когда что-то не так, а у меня всё так. Просто я на это не подписываюсь.

Джош посмотрел на неё и промолчал. Он пошёл к бочкам, и это было хуже, чем если бы возразил.

— Тогда подписывай, мы тебя ждём, — крикнул он уже из погреба.

— Знаю. — Маргот бросила это в пустой сарай, как бросают пробу, которую некому пробовать. — Именно поэтому и не подписываю.

Джош, Нора и весь совет смотрели на этот карман и не говорили ни слова, и Маргот это слышала. Она решила пока не начинать.

Роса на ступеньках крыльца ещё не высохла, и на доске у двери кто-то мелом вывел: «Четверг — считаем». Почерк был Линды — она единственная в совете писала цифры с

хвостиками.

Погреб Джош вёл с прошлого года: тогда у Маргот разболелось плечо, и она сняла эти задачи с себя сама. Она стояла у входа и смотрела, как он завязывает пробки, — и напоминала себе, что смотрит она не на пробки.

— Я вижу, как ты завязываешь, — заметила Маргот.

— Я делаю так семь лет, — ответил Джош, не оборачиваясь. — Кто это делал до меня, я не помню.

— Я знаю, просто ты делаешь это так, будто забыл.

— Я ничего не забыл. — Он поднял руку с узлом, туго затянутым у самой ленты, и подождал, пока она рассмотрит. — Я каждый раз проверяю, что ты смотришь.

Так они разговаривали всегда: производственными терминами, в которых каждое второе слово было о чём-то другом.

— А помнишь, как мы спорили про Нору? — спросил Джош, отжимая тряпку. — Ты говорила, что она слишком быстрая для нас.

— Я говорила, что она работает лучше нас и об этом не думает.

— Это уже готовый диагноз, — хмыкнул Джош.

— Это список претензий, и он не пустой.

На пороге поместья Дэниел Рейес возился с камерой: привинчивал кронштейн к столбу у ворот, тянул провод к солнечной панели и сверял что-то в блокноте, где кроме цифр был нарисован куст — аккуратно, почка в почку, — и заяц,

гораздо менее аккуратно. Камера сидела в брезентовом чехле со шнурком вместо молнии, и Дэниел обращался с ней бережнее, чем с собственным телефоном.

— Это у вас ещё что такое? — спросила Маргот, подходя ближе.

— Таймлапс на весь сезон, — пояснил Дэниел. — Кадр в кадр, с четырёх утра до трёх ночи. Для опыления, — он дёрнул подбородком в сторону рядов, — и против зайцев.

— Зайцы — это у нас проблема? — поинтересовалась Маргот, останавливаясь.

— Нет, зайцы это вообще не проблема, зайцы это предсказуемая величина.

— Дэниел, — повторила Маргот с нажимом.

— В смысле, они грызут то, что мы не успели вырастить, но у них есть расписание, их можно посчитать. Камера их не остановит, но покажет масштаб — масштаб, понимаете?

— Я поняла про зайцев, — отозвалась Маргот. — А ночью она что покажет?

Дэниел моргнул и почесал затылок.

— Ну, ночью, — неуверенно начал он.

— Ночью она покажет ночь, — подхватила Маргот.

— Да. — Он слегка смутился и заговорил быстрее. — В общем, свет у нас только фонари. Если кто-то ходит — мы увидим. Если никто не ходит — мы увидим, как зайцы танцуют. Я уже видел: они делают это в три ночи.

— Ты идёшь в три ночи смотреть, как зайцы танцуют?

— Ходил четыре раза, — признался Дэниел.

— И зачем тебе это делать? — не поняла Маргот, глядя на камеру.

— Чтобы проверить, что камера пишет, — пояснил Дэниел. — Потому что если она не пишет в три ночи, то не напишет и в два.

Маргот не возразила: Дэниел был из тех людей, рядом с которыми чувствуешь себя умнее, чем ты есть, и это, кажется, было его единственным недостатком. Она спросила, сохраняются ли записи на месте.

— Копия есть, вторая копия есть, обе в разных местах, — быстро ответил он. — Я не из тех, кто доверяет одному устройству.

— Я этого не спрашивала, Дэниел.

— Я знаю, простите. — Он поправил кепку, потом кронштейн, хотя кронштейн уже не требовал поправки. — Это я на всякий случай.

В погребе пахло старой бумагой, воском и сырым камнем. Бочки стояли в два ряда, у стены темнели ящики с пробками в три яруса, под потолком сушились связки биров, а на столе лежал первый лист инвентаризации, расчерченный Маргот ещё летом: графа для сорта, графа для года, графа для шпалеры и пустая колонка «решение», которой раньше не было.

— Здесь пахнет как в библиотеке, — заметила Маргот.

— Здесь и есть библиотека. — Джош провёл ладонью по клёпке ближайшей бочки, над буквами «Эшфорд, 2009». —

Только книги тут — это бочки.

Настоящая библиотека оставалась в доме, на втором этаже, и к полудню Маргот поднялась туда за регистрационной книгой винодельни. Стеллажи из тёмного дерева, каталоги с лиловыми ярлыками, регистрационные тома, в которых сорок лет шёл один почерк, а потом ещё двадцать — другой; на корешках выцвели годы, и в одном томе лежала закладка из засушенной веточки, оставленная, кажется, самими Эшфордами. Маргот нашла северный ряд, где когда-то меняли подвой, и оставила книгу открытой на краю стола — как оставляют открытой нужную страницу в присутственном месте.

Обратно она вышла через двор и у входа в погреб провела пальцем по коре старого куста — ствол толщиной в её запястье, корявый, с наплывами у самой земли, — и, как ей показалось, различила под корой движение сока. Куст помнил зиму дольше человека, это было известно; но каждый раз, когда Маргот клала ладонь на кору, ей казалось, что она прикасается к чему-то, что помнит и её.

— Они просто спят, — заметила она.

— Они не спят, а думают, — отозвался Джош из темноты.
— А весной это одно и то же.

Нора Уитакер приехала к девяти, с двумя чемоданами и секатором в чехле через плечо, и выглядела человеком, который переехал, а не приехал. Колёса чемоданов были ободраны, ремешок секатора выгорел до цвета старой пробки, и на первое приветствие она ответила так коротко, что Маргот

не была уверена, считается ли это приветствием.

— Чемоданов у вас много, я смотрю? — спросила Маргот, глядя на дорожную пыль на их стенках.

Нора посмотрела на свои руки и не сразу ответила.

— Два чемодана. — Нора выпрямилась, и голос у неё выровнялся до канцелярского. — Один с одеждой, один с оборудованием. Я их не ставила на весы, потому что некогда и потому что это не моё добро, которое взвешивают.

— Это не ответ на мой вопрос.

— Я не знаю, какой это вопрос, — ровно ответила Нора.

— Разница между чемоданами и секатором?

— Секатор у меня с восемнадцати лет. Чемоданы я привезла с собой.

Она сразу, не спрашивая разрешения, открыла папку и показала срез, проделанный на пробном черенке, — гладкий, под углом, на две почки выше глазка. Маргот взяла черенок, повертела, посмотрела на свет и на всякий случай понюхала: пахло свежим соком и чуть-чуть железом.

— Рука у вас хорошая, — отметила Маргот, возвращая черенок. — Школа южная, и практика южная.

Нора забрала черенок и убрала его в карман куртки так, как убирают обратно инструмент. Секатор она тут же вынула из чехла: лезвия съехались с мягким щелчком, пружина ходила без люфта, и по этим двум признакам Маргот поняла — за железом ухаживают, а не просто носят.

— Я училась у людей, которые не верили в школы, а ве-

рили в землю, — Нора тем временем застегнула папку. — Школа — это когда тебе объяснили. Земля — это когда тебе показали и оставили с ней одной.

— Почти двадцать лет в Отаго?

— Почти двадцать лет: в девятнадцать уехала учиться в Линкольн, в двадцать первое вышла на практику. Первый розе сделала из покупного сусла, мне было девятнадцать, и отец его выпил, и постановил: «Будешь виноделом, только дом сначала дорастим». Я тогда не поняла, в каком порядке он это постановил.

— И когда же вы вернулись? — спросила Маргот, подходя к ней ближе.

— В этом году, на проект, — сухо уточнила Нора.

Она не произнесла «навсегда», и Маргот не стала уточнять.

— Кооператив жмёт по срокам, — продолжила Нора, оглядывая ряды. — Северный ряд надо обрезать до цветения, иначе темп не выдержит.

— Ночью обрезать нельзя, — возразила Маргот. — Совет установил правило, и я за него проголосовала.

Нора не ответила — только сняла перчатку, обмотала ремешок вокруг ладони и пошла к ряду.

— Нора, — окликнула её Маргот вслед.

— Я слышала вас, — не обернулась Нора.

— Это не обсуждение, это решение совета.

— Это моё решение, — бросила Нора через плечо. —

Правило совета — это совет, а я приехала работать, а не голосовать.

— И Джош со мной согласен, — добавила Маргот.

— Значит, вы с Джошем и поговорите, а я начну в два.

— В два часа ночи, — уточнила Маргот.

— До четырёх холодно — я успею.

Маргот стояла и смотрела ей в спину. Нора работала так, как ходила: не оглядываясь.

— С тобой будет Хеми, местный полицейский, — объявила Маргот вслух, потому что произнести это вслух было единственным способом превратить это в правило. — Он придёт и будет стоять там, пока ты не закончишь. Это не значит, что он о тебе думает. Это значит, что бумагу он ведёт лучше тебя.

Нора наконец остановилась и повернула голову.

— Он будет ходить за мной?

— Он ходит везде, где что-то происходит, — ответила Маргот. — Ты удивишься, узнав, где он бывал в сентябре.

Нора посмотрела на неё оценивающе, дёрнула уголком рта — то ли согласие, то ли расчёт — и ушла к рядам, и Маргот подумала, что Нора приняла договорённость ровно настолько, насколько позволял характер.

— Скажите мне, — окликнула вдруг Нора, уже издалека, — вы когда-нибудь обрезали в холод по пять часов подряд?

— Каждый июль, сорок лет подряд, — отозвалась Маргот.

— И как, вы ненавидели это? — спросила Нора, убирая

секатор за пояс.

— Ненавидела половину времени, — ответила Маргот.

— А во второй половине, — не отставала Нора, — что делали?

— Соображала, зачем это вообще делаю.

Нора усмехнулась — коротко, одобрительно — и пошла к рядам.

В городском совете обсуждали устав. Линда Кроуфорд, шестьдесят лет, голосом, которым обычно зачитывают постановления, предложила пункт о прозрачности взносов — такой, чтобы любой член кооператива видел, сколько внёс каждый.

— Прозрачность — это хорошо, — заметила Линда. — Только не всегда приятно видеть, как тратят твои деньги.

— Непрозрачность — это когда ты не видишь, как они их тратят, — ответила Маргот. — А не видеть — это вариант, который обычно заканчивается хуже.

Линда посмотрела на неё поверх очков и сделала пометку на полях так решительно, что стало ясно: пункт будет в уставе.

— Старый долг — это как старая бочка, — добавила Линда. — Вовремя открыл — выдохнула, не открыл — взорвалась.

— Ты вроде говорила, что про долги не зимой, — заметил кто-то из совета.

— Я говорила: зимой не говорю, а весна — это другое

время.

— Ты то же самое говорила в прошлый раз.

— Значит, я была права дважды, — объявила Линда. — Маргот, запишите это в протокол.

Маргот слушала и записывала, а Линда пришла не спорить о слове «вовремя», а проверить, кто из совета действительно считает. Протокол она вела одиннадцать лет и знала: страница, на которой стоит дата и две подписи, работает лучше любой памяти. Проверка шла плохо: заседание продлилось на сорок минут дольше, чем планировалось, потому что каждый, кроме Линды, счёл нужным вставить, что и у него есть своя «старая бочка».

Пункт о прозрачности приняли, а пункт о том, что решения совета публикуются в книжном в течение двух недель, приняли тоже — после того, как Элеанор, пришедшая на заседание с кружкой и блокнотом, показала, сколько вопросов в Бухте остаётся без ответа именно потому, что решение было принято, записано и забыто в ящике стола.

— У меня нет права голоса, — вставила Элеанор, не поднимая глаз от блокнота.

— У вас есть право голоса, — парировала Линда. — Вам просто лень им пользоваться.

— Это не лень, это вежливость.

— Это одно и то же, когда человек молчит, а потом жалуется, что его не спросили.

Совет в этот раз сидел в здании правления, в зале с высо-

кими окнами, и Элеанор сидела на третьей скамье с краю. Маргот слушала их и записывала, и подумала, что половина того, что сейчас обсуждают, уже записана в протоколе предыдущей весны — просто в другом шкафу. Вдоль стены тянулась полка с папками протоколов, ровными, как шпалы, и самые толстые из них всегда оказывались годами споров.

После обеда Маргот вышла на виноградник и долго стояла, глядя на голые ряды, уходящие вниз по холму. От земли шёл запах мокрого щебня и опавшей листвы; внизу, у изгороди, глотала воду дренажная труба. Ветер с моря был тёплый и пах солью; на спуске колено напомнило о себе — тупо, по-хозяйски, как напоминает о себе закладка, забытая в чужой книге, — и она постояла, не торопясь, перенося вес на левую ногу. Плети лежали ровно, шпалера была протянута туго, и только северный ряд — тот самый — выдавал себя рыхлым краем. Нора проверяла подвязку на двух кустах и работала быстро, как работают люди, которым когда-то приходилось делать это в холод на пять часов подряд.

К вечеру Дэниел показал им первый кадр: дорога, ворота, пустой двор, неподвижная трава. Экран отдавал серым, и в этом сером всё выглядело честнее, чем днём.

— Смотри, вот она, ночь. — Дэниел подвёл кадр к воротам. — С этой минуты у нас будет свидетельство, даже если никто не будет смотреть. Если кто-то будет подглядывать — мы узнаем, кто. А если никто — мы честно запишем, что никто не ходил. Мне это даже больше нравится.

Маргот посмотрела на него и подумала, что есть люди, которых нельзя переубедить словами про справедливость, — только фактом. Дэниел был таким, и Хеми тоже, и, подозревала она, сама она — если бы кто-нибудь потратил на неё достаточно времени.

Поздно вечером, когда Нора ушла в гостевую комнату и положила секатор на тумбочку у кровати — не в чехле, а просто рядом, — Маргот задержалась у погреба. Холодный воздух из открытой двери шёл по полу ровной струйкой, и в ней пахло железом и сухим деревом.

— Ты не боишься оставаться одна в таком доме? — спросил Джош из глубины погреба.

— Боюсь, — призналась Маргот, глядя в тёмный проём. — Но погреб я знаю наизусть — каждую бочку. Страшно только тому, кто не знает, где бочки.

Она пощупала карман — бумага была на месте, тёплая от бедра, — и пошла спать. В ящике с пробками её ждало место: между тиражом к двухсотлетию и пробкой, которой уже ничем не пахло.

Джош вышел следом, и Маргот закрыла дверь погреба на ключ — струйка холодного воздуха кончилась. На лестнице она ставила обе ноги на каждую ступень — старый приём против боли. В холле горела лампа, и рядом стояла корзина с яблоками, забытая кем-то из совета. В доме было тихо, и в этой тишине она впервые за неделю подумала о направлении не как о деле, а как о сроке: подписать — значит признать,

что три месяца можно было не делать операцию и что решение принимала она, а не колено, — значит, решение принято. И направление, которое она перекладывала из ящика в ящик три недели, придётся подписать и отдать.

Глава 3. Человек, которого любит город

На шестой день Мартин Хейл в «Медном чайнике» был своим.

«Медный чайник» к празднику нарядили накануне: вдоль окна Джесс натянула бумажную гирлянду, на грифельной доске вывела мелом «яблоки в карамели — по старой цене», и теперь по кофейне с самого утра пахло корицей и печёными яблоками, так что редкий прохожий удерживался, чтобы не заглянуть. За соседним столиком двое пенсионеров делили утренний кроссворд и не торопились: до полудня он был их полной собственностью.

Хейл поднял кружку и предложил тост — за праздник и за тех, кто вытаскивает его на своих руках, — и тут же пообещал, что гуляние у нового погребца получит музыку за его счёт. Джесс всплеснула руками и вслух прикинула, сколько нужно булочек, чтобы спонсор попробовал хотя бы три сорта. Спонсор, платящий за музыку в маленьком городе, — это либо очень добрый человек, либо очень аккуратный, и Элеанор, наблюдая из-за кружки, пока не решила, какой из двух сидит перед ней.

— За такой тост у нас яблоко в карамели идёт в подарок, — объявила Джесс и ушла за лотком.

Элеанор наблюдала это из открытого окна, стоя с кружкой в руке и не выпуская Хейла из поля зрения, — не подслушивая, а наблюдая, как наблюдают за погодой, когда уже решили, что доверяют прогнозу, но всё же следят.

Хейл сидел у окна, ел суп с хлебом и говорил с Джесс так, как, по мнению Элеанор, стоило бы говорить со всеми, но никто не умеет: сначала спросил, как её сын в Данидине, потом — как она сама, и честно удивился, когда услышал, что у Джесс всё хорошо, потому что он явно ждал худшего и готовился к нему.

— Ему нравится университет, — Джесс вытерла руки о фартук.

— Это хорошо, — Хейл отложил ложку. — А вам нравится, что он далеко?

— Мне нравится, что он учится. Дальше — это выдумка, — она подложила ему ещё хлеба.

Он поблагодарил её так, будто она сделала что-то незаурядное, и это, подумала Элеанор, было уже не первое и не второе наблюдение, а примерно шестое, и список рос.

— А как ваш бизнес? — спросила Джесс, чтобы не выглядеть грубой.

— Я винный брокер, — ответил он. — Много лет ездил по югу и знал, что у вас тут, в Бухте, земля лучше, чем о ней думают, и теперь ищу, кому предложить.

— В смысле, землю иметь в виду? — переспросила Джесс, поставив кружку.

— Плоды, — Хейл не стал расшифровывать.

Джесс посмотрела на него так, как, по мнению Элеанор, в Бухте смотрят на человека, который произносит «земля» вместо «бутылка».

— Тут уже есть кооператив: Маргот Эллингтон, Джош Барретт, они как раз открывают погреб, — Джесс загнула два пальца, будто пересчитывала кооператив по головам.

— Я знаю, я и подписал афиши.

Он поднимался по лестнице медленно, держась за перила не для опоры, а так, будто сверялся с ними на ощупь. На середине он остановился и прижал ладонь к груди — недолго, секунды три, не больше, — и пошёл дальше, как ни в чём не бывало.

— Он что-то ищет, — Хлоя подняла глаза от экрана.

— Здесь все ищут, каждый второй, — ответила Элеанор.

— Он ищет что-то физическое, ты заметила? Он ни разу не посмотрел на витрину, ни разу не спросил про книгу. Он спрашивает про карты и про архив.

— Он брокер, а карты тоже деньги, — Элеанор отпила остывший кофе.

— Брокеры не спрашивают про карту причала, — Хлоя застрочила по клавишам. — Брокеры спрашивают только, где выход.

— И как у него выходит?

— И никак: на вкус не пробуют, — Хлоя усмехнулась одними уголками.

Хлоя Пак, двадцать девять лет, монтировала «Тёплую Бухту» и работала с архивом канала в перерывах между склейками. Она умела делать так, что человек на экране внезапно начинал нравиться зрителю, и Элеанор считала это редким даром, сравнимым с хорошей памятью на лица.

— Я искала его имя везде, — Хлоя повернула ноутбук экраном к ней. — Нашла страницы трёхлетней давности, и всё: ни одной строчки за все остальные годы. Человек без следа — это не тот, кто ничего плохого не совершил, а тот, кто очень старался, чтобы следов не осталось. Дальше трёх лет вниз — тишина, даже кэш пустой.

Перед этим она проверила три поисковика, две газетные подшивки и единственный форум винных брокеров — и всюду упёрлась в одну и ту же глухую стену. Для архивиста это звучало до боли знакомо: так выглядит каталог, из которого аккуратно, по одной карточке, вынули всё, что было интереснее пустоты.

— Может, он просто аккуратный человек.

— Может, и быть, а может, кто-то за него позаботился, — пожала плечами Хлоя.

Хейл спустился тем же неспешным шагом, и Джесс, не вытерпев, спросила, всё ли у него в порядке.

— Более чем, — он сел и пододвинул чашку. — Сердце у меня аукционист: любит торговаться. Иногда я соглашаюсь на его условия, иногда торгуюсь сам, но проигрывать не намерен.

Джесс рассмеялась; Элеанор отметила, что сам он при этом не улыбнулся ни единым мускулом.

Хейл вышел на улицу и пошёл вниз, к гавани. Через тридцать шагов он остановился, достал из кармана жестяную коробочку — старую, с потёртой крышкой, какие бывают у капель, которые держат в кармане десятилетиями, — открыл её и положил на язык две капли. С их столика не было видно ничего, кроме ровного, привычного жеста, будто он проделывал его тысячи раз. Потом закрыл, убрал и пошёл дальше — спокойно, ничуть не изменившись в лице.

Хлоя посмотрела на Элеанор поверх ноутбука.

— Что это сейчас было такое? — тихо спросила Хлоя, глядя в окно.

— Не знаю, — Элеанор поставила недопитую кружку. — Доктор Пател видел и молчал; если бы это была его таблетка, он бы не молчал.

— А если не из его кабинета?

— Тогда это просто человек, который что-то принимает, — Элеанор сложила салфетку вчетверо. — Я за этим человеком не слежу. Я отмечаю, что он делает, когда думает, что на него не смотрят, — как архивист.

В обеденное время Хейл попался ей ещё раз — у почтового ящика на улице, где Элеанор проверяла доставку, потому что книжный получал четыре журнала, и это был её законный повод выйти на улицу. Ящик здесь стоял старый, с ручкой, которую надо было сначала приподнять, а уже потом

тянуть, и Хейл справился с этим движением с первого раза, будто прожил здесь всю жизнь.

— Помогите, — он не поднимал рук, а просто указывал взглядом на ящик, в котором что-то застряло.

Она помогла, и письмо вышло легко: разворачивая его, она не глядя увидела имя отправителя — агентство, которое знала, оно выставляло счета за рекламу в здешней газете.

— Будьте добры, — Хейл взял письмо из её рук и ушёл, поблагодарив так, что от этого благодарствия захотелось немедленно что-нибудь пожертвовать.

Элеанор стояла у почтового ящика минуту, потом закрыла его и записала в блокнот: «Он забрал рекламное письмо лично: реклама его не интересует, интересуется счёт».

Доктор Амит Пател возвращался с анализами в глубоком внутреннем кармане — так он, по собственному признанию, носил всё, что мог унести на руках, потому что на мужчину с сумкой в Золотой Бухте смотрят так, будто он что-то вынес из чужого дома, — и остановился на ступеньке, где стоял Хейл.

— Доктор, — Хейл придержал дверь.

— Мартин, — отозвался Пател, не останавливаясь.

— Мне холодно.

— Это погода: вы одеты как человек, который приехал с севера и собирается уезжать обратно.

Произнесено это было без насмешки, скорее как диагноз, и потому звучало убедительнее, чем следовало.

— Я не собираюсь уезжать обратно, — ровно ответил Хейл.

Пател не ответил сразу: открыл было рот, закрыл и посмотрел на Хейла так, как врач смотрит, когда пациент говорит «не собираюсь» тем же тоном, каким люди говорят «в обед я не буду».

— Вы на лестнице у меня остановились, — наконец заметил Пател.

Хейл поднял ладонь к груди — и тут же положил её обратно.

— Вот это что за движение? — Пател показал на его ладонь. — Это ведь ладонь к груди?

— Это просто привычка, — Хейл спрятал руку в карман.

— У кого-то привычка, — Пател снял очки и протёр их краем рукава, хотя они были чистые. — У кого-то простуда, у кого-то кашель по двенадцать раз в минуту. На лестнице я их не отличаю, Мартин, потому что на лестнице у меня нет стетоскопа.

— А в кабинете он есть?

— В кабинете есть, — подтвердил Пател.

— Тогда я зайду в четверг.

Пател поднял руку, останавливая его.

— Подождите: я четверг не назначал.

— Нет, вы не назначали: я сам себя записал, — согласился Хейл.

— Идите пешком, если сможете, и приходите с утра, а не

после обеда: в обед у меня приём, и я в обед добрее, чем вам нужно. И не откладывая: четверг — это уже откладывание.

Хейл мотнул головой и пошёл вверх по улице. На пятом шагу он снова прижал ладонь к груди — коротко, машинально, как кланяются, — и исчез за поворотом к гавани. Лестница перед приёмной была короткая, ступенек около дюжины, и Элеанор, проводив его взглядом, подумала, что человек, который дважды на дню здоровается с собственной грудью, рано или поздно договорится с ней всерьёз.

Потом Пател ещё долго стоял на ступеньке, и Элеанор видела это из окна, и ей показалось, что он не столько вспоминает разговор, сколько решает, стоит ли звонить кому-то сегодня вечером. Решил не звонить — и на один день оставил Хейла в покое, и этот день потом оказался дороже, чем любой звонок.

В шесть вечера Хейл перешёл дорогу к Тревору. Элеанор видела это из окна — Джесс стояла на своём, а она на своём, — и успела обратить внимание на две вещи: он вошёл сразу, не разглядывая вывеску, с рукописью под мышкой, — и вышел через двадцать минут уже без неё.

Дэниел стоял с двумя стаканами на крыльце книжного и слушал.

— Он отдал текст, — Элеанор подошла ближе.

— Он отдал рукопись, — поправил Дэниел. — Это разные вещи: текст можно сказать, а рукопись надо взять в руки и унести.

— А что он там написал, у Тревора?

— Тревор не говорит, что там написано. Тревор говорит, что человек платит наличными за то, чтобы его напечатали. В этом году Тревор брал наличными дважды: первый раз за афиши, второй раз за это.

Элеанор посмотрела на него и решила, что Тревор зря вообще сдаёт свои тайны людям, которые умеют их различать.

В «Медном чайнике» вечером сидела Морин Донован — двадцать пять минут по часам, но в этот вечер она просидела час, и это заметили все, кроме неё самой. К вечеру бумажная гирлянда над окном отвисла, и Джесс, подходя к столикам, подтягивала её за конец, чтобы не мешала смотреть на улицу.

Морин была из тех людей, которых все знают и о которых никто не может сказать ничего определённого. Она кондитер, она вдова, она в прошлом году выиграла на ярмарке тыквенную ленту. Всё это было написано на одной визитке, и визитка давно надоела.

Она сидела с чашкой и смотрела на Хейла, держала чашку обеими ладонями, как держат не чашку, а собственные руки. Элеанор, вошедшая за второй чашкой, проследила её взгляд и не поняла, что увидела.

— Вы на него так смотрите, — Элеанор опустилась на соседний стул и понизила голос.

— Как на фотографию, — Морин не сразу отвела взгляд. — Смотрите и решаете: узнаете человека или нет?

— А что именно вы узнаете, глядя так долго? — спросила

Элеанор.

Морин ответила не сразу: сначала повела пальцем по краю чашки, будто отсчитывала что-то невидимое.

— Пока не знаю, и это меня тревожит. Я узнаю людей быстро — это профессия и возраст, а этого не узнаю. Он входит в комнату, и я понимаю, что видела его раньше, и не могу вспомнить где. Двадцать лет назад он не выглядел бы так, значит, видела я его не двадцать лет назад.

— Может быть, вам просто показалось, — осторожно встала Элеанор.

— Может, и показалось, — согласилась Морин. — Я поговорю с Элеанор, не с тобой, а с той, которая записывает.

— Так я и записываю, — Элеанор раскрыла блокнот.

— Вот и славно, — отозвалась Морин, и это было настолько в её духе, что Элеанор не стала уточнять.

Морин допила чай, перевернула чашку блюдцем вверх — уходя, она всегда переворачивала, чтобы официант понял, что столик свободен, — и ушла, но у двери остановилась.

— Он встал на ступеньке и держался за грудь, — прошептала она вполголоса. — Мой муж так делал одиннадцать месяцев. Я знаю, как это выглядит со стороны. Со стороны это выглядит как человек, который очень устал, хотя он очень ничего не делал.

— Морин, — мягко попыталась остановить её Элеанор.

— Я ничего не говорю, я говорю, что видела. Это разные вещи, и их постоянно путают, в том числе я.

В книжном Элеанор записала в блокнот четыре строки. Потом, перечитав, зачеркнула три и оставила одну:

«Мартин Хейл — шесть дней в Бухте. Платит наличными, помнит имена детей, спрашивает не про книги, а про карты. Жест на лестнице, жестянка с каплями, разговор с Пателем. „не откладывая“. Ни одна из этих вещей ничего не значит по отдельности. Все вместе — значат слишком много. Наблюдение не есть вывод — записала и жду, когда понадобится».

Потом она открыла корешок архивного каталога за этот месяц и пролистала его до конца — просто чтобы убедиться, что привычка не врёт и что в Бухте действительно не забывают, кто что купил. Каталог был честный, аккуратный, с рукописными пометами Сары и одной странной вещью: между записями за первую и вторую неделю сентября зияла пустая страница — с загнутым уголком и одиноким номером на полях, к которому не было записи.

Элеанор перечеркнула пустую страницу карандашом — не для того, чтобы исправить, а чтобы отметить, — и записала рядом: «Сентябрь: пропуск, запись снята, а номер не вычеркнут». Почерк у неё был твёрдый, и она перечитала дважды.

Потом она записала ещё одну строчку, уже не о Хейле: «Морин видела кого-то раньше и промолчала. Это не улика, а пока только повод не закрывать папку».

Вечером они с Сарой разбирали ящик с афишами, и Сара, не глядя, бросила:

— Ты сегодня три раза писала одно и то же слово.

— Какое слово? — Элеанор подняла голову.

— «Наблюдение», — Сара поставила афишу ровно в стопку. — Ты так виляешь, когда что-то не складывается.

— Я совсем не виляю, — обиделась Элеанор.

— Виляешь, — Сара выровняла край стопки. — Я не знаю, как это устроено, знаю только, что когда у тебя всё в порядке, ты об этом не думаешь. А ты сейчас про карту думаешь третий раз с завтрака.

— Я про карту думаю потому, что он про карту спросил.

— Он про карту спросил в первый день, — Сара отряхнула ладони. — Ты про карту думаешь с тех пор, как он приехал.

Элеанор закрыла блокнот и посмотрела на кота, который лежал на описи и смотрел в окно, где уже темнело. Барнаби приподнял голову и посмотрел на неё долгим взглядом существа, которое всё слышало, но никому не собиралось этого пересказывать, потом снова уткнулся носом в опись.

— Я знаю, и в том-то дело, что знаю, — Элеанор пододвинула опись поближе к коту.

Ночь пришла быстро: не темнело, а выключалось.

Утром, на седьмой день его пребывания, Элеанор узнала, что за его спиной в Бухте говорят три разные вещи.

Джесс говорила, что у Хейла прекрасные манеры и что он напоминает ей отца, который умер, не дожив пяти лет до шестидесяти. Линда говорила, что видела, как он считал сдачу,

хотя деньги клал на стол без сдачи. Морин не говорила ничего и уходила из «Медного чайника», когда он заходил, а однажды, засучив рукав, показала Элеанор внутреннюю сторону запястья, где была старая, давно побелевшая полоса.

— Что это у тебя за полоса? — Элеанор взглянула на запястье.

— Муж швырнул в меня горячий чайник, — Морин потёрла запястье, будто ему снова было горячо. — Я столько лет никому не говорила. А сейчас говорю, потому что сижу напротив человека, который так же держится за грудь, как тот, кто меня бил.

— Морин, это ведь не связано, — возразила Элеанор.

— Я не говорю «связано» — я говорю, что не хочу быть рядом, когда он упадёт. — Она посмотрела на свои руки. — Не потому что злая, а потому что человек, который замечал такие вещи двадцать лет назад, сегодня сидит на ступеньке, и это несправедливо — слишком много всего сходится.

Она ушла и не возвращалась два дня.

Элеанор записала и это — осторожно, не как факт, а как отметку: «Морин Д. перестала приходить в „Медный чайник“». Потом подумала, что сама Элеанор ведёт себя точно так же: делает вид, что не замечает, и очень аккуратно обходит то, что заметила.

Потому что Элеанор Хейс была архивистом. И архивист — это прежде всего человек, который очень хорошо знает, что некоторые вещи нельзя вынимать на свет, потому что

они рассыпаются.

Глава 4. Призрак поместья

Фонарь в погребе Эшфорд зажёгся в час ночи, и Маргот услышала шаги раньше, чем поняла, что слышит.

Она стояла на кухне с чашкой, остывшей минут десять назад, и слушала. В чашке плескался травяной настой, налитый ещё до ужина: мята, лист смородины, ложка мёда на дне. Маргот держала её двумя руками и не пила — так удобнее молчать.

Свет внизу горел ровно, без трепета: фонарь несли перед собой, и жёлтый контур то появлялся в щели погребной двери, то гас, когда человек поворачивал за стеллаж с тарой. Маргот знала это пространство наизусть — от лестницы до дальнего крана она прошла бы в темноте, — и потому ей было слышно, где именно он идёт: мимо чанов, вдоль среднего ряда, к старой стене, где теплее всего.

Шаги были ровные, не тяжёлые, не крадущиеся — просто шаги человека, который идёт в своём доме и не думает, что его слышат.

— Джош, ты это тоже слышишь? — спросила она, не отрываясь от окна.

Джош спал на диване в кабинете, в одежде и без носков: он считал, что если носки на нём, значит, он уже решил идти в погреб, а если он уже решил, то лучше не просыпаться вовсе.

— Слышу, — отозвался он, не открывая глаз. — Внизу

кто-то идёт, и идёт спокойно.

— Кто это может быть в такой час? — Маргот подошла к окну ближе и отвела ладонью край занавески.

— Тот, кто знает, где выключатель: призрак бы его не знал.

Джош приподнялся на локте, посмотрел в потолок и лёг обратно, демонстративно доверившись правилу.

Маргот вниз не пошла проверять. Совет месяц назад принял правило, которое сама же предложила и от которого сама же страдала: ночью в поместье никто не ходит в одиночку, фонарей — не меньше двух, а если кто-то идёт вдвоём — говорит об этом другому. Правило было не про призраков. Правило было про ступеньку: за двадцать лет от неё умерли трое, и каждого потом обсуждали годами, потому что в ступеньке есть где-то виноватый.

Она позвонила Хеми сразу же.

— Опять? — Хеми ответил голосом человека, который недавно проснулся.

— Опять, и на этот раз с фонарём, — подтвердила Маргот.

— Фонарь — это уже хорошо: значит, человек не боится света. Свет — это свидетель, который не откажется показать.

— Хеми, скажи, что нам делать? — не выдержала Маргот, сжимая чашку.

— Ничего не делать, — распорядился Хеми. — Запишите точное время, а утром я приеду.

— А если он выйдет наружу?

— Тогда вы увидите, как он выйдет, и утром расскажете мне, каким он показался. Это тоже улика: почему он ходит, выясним при свете. А вот кто ходит по ночам, когда все спят, — это вы мне уже описали, и описали, между прочим, саму себя, Маргот Эллингтон.

Маргот записала время в блокнот, который жил на полке рядом со спичками, и добавила строку: фонарь, шаги, направление — к дальней стене. Пустую чашку она наполнила снова и держала уже просто так, для рук: руки у Маргот обычно знали лучше её, чего им сейчас нужно.

Хеми приехал в восемь, с фонарём, блокнотом и пакетом булок из пекарни, потому что Хеми Ропата считал, что человек, идущий на осмотр без завтрака, склонен к ошибкам. Утро было рабочее, серое и ровное: роса на рядах, примятая трава у ворот, Джош с бутербродом в одной руке и со строительным уровнем в другой.

Они спустились к погребу вместе.

На старой лозе у дальней стены были свежие срезы.

Маргот подошла и посмотрела — долго, тихо, присев на корточки, — и это заняло минуту, две, пять, столько, сколько нужно. Срезом было три, все на прошлогодних плетях, все на высоте ладони от земли. Каждая ранка затянулась тонкой плёнкой сока, подсохшей бусиной, и по этой бусине можно было читать: резали ночью, сухо, до росы. Маргот не дотрагивалась до срезов — она смотрела так, как учат смотреть

винодела: сначала общая линия, потом наклон, потом то, чего не хватает.

— Это не зайцы, — ответила она наконец.

— Зайцы не делают аккуратные срезы, — согласился Хеми. — Зайцы делают один сплошной хаос.

— Зайцы делают отсутствие системы, — поправила Маргот. — А тут, если присмотреться, система.

Она показала ему на три обрезанных побега, потом на четвёртый, оставленный нетронутым, потом на подвязку, которая была ослаблена ровно настолько, чтобы ходить между рядами, не цепляясь. Четвёртый побег был тонкий, из тех, что до весны не доживут, и оставлен он был не из жалости: тот, кто резал, знал, что кусту хватит и трёх. Узел на подвязке сидел плотно и был перевязан одним движением, без второго витка, — так вяжет рука, которая давно не думает.

— Он знает, как ходить между рядами, — продолжала она. — Он быстро поправляет подвязки, потому что поправлять их — работа садовника, а не винодела. И он режет так, как учат у нас: почти прямо, глубже, с нажимом на второй глазок. Так режут те, кто не боится сильного среза. Нора режет иначе — Нора режет так, как учили её в Отаго, где зима короткая и ждать нельзя.

— Это у вас что, описание? — спросил Хеми, поднимая голову от рядов.

— Это отпечаток: описание — это «мужчина», а отпечаток — это то, как он держит ножницы, — пояснила Маргот.

Хеми записал слово «ножницы» и подчеркнул его дважды, хотя обычно подчёркивал один раз.

На погребных ступенях, у самой двери, Хеми нагнулся и посветил фонарём вниз.

— А это что тут у нас? — он присел на корточки, направляя луч вдоль края.

— Воск, — Маргот опустилась рядом, глядя под его луч. — Следы от свечей: Джош проверяет бочки свечами, но ходит по другой стороне, ближе к краю. Эти капли остались с края, значит, человек, который их оставляет, шёл по краю.

Капли лежали круглые, мутно-жёлтые, одна возле другой, и по краям у них налипло серой пыли. От ступеней пахло погребной прохладой, воском и мокрым камнем — сочетанием, которое Маргот любила больше любого парфюма.

— Как давно они здесь лежат? — уточнил Хеми, записывая в блокнот.

— Сутки, может двое, — Маргот повела лучом по краю ступени. — Дождь их не смыл, значит, во вторую ночь дождя не было.

— Первая ночь — позапрошлая, — добавил Хеми. — Он ходит уже не первую ночь, Маргот: две последние — подряд.

Хеми записал это, потом выпрямился и посмотрел на неё с выражением, которое она знала: он очень хотел сказать «виноватый» и понимал, что не должен.

— Не называйте это следом, пока это не след.

— Я назову это наблюдением, — пообещала Маргот.

Билл Маккензи пришёл сам, без звонка, потому что Билл Маккензи, семьдесят лет, никуда не мог прийти, не придя туда по делу. Он вёл журнал ветров и моторов в гавани — тетрадь в клетку, куда вписывал всё: ветер, высоту волны, номер лодки, число пойманных, отметку о странном. Странные отметки у него составляли примерно четверть всех записей. Писал он карандашом, ровным ученическим почерком, и ничего не исправлял: привычки ошибаться дважды у Билла не было.

— Огонёк на мысу, — объявил он, входя. — Я заметил его две ночи назад, возвращался с рыбалки поздно и сперва думал: маяк. Но маяк у нас на мысу один, и он поворачивается раз в двадцать секунд, а этот не поворачивался.

Маргот подвинула ему стул, и Билл сел, положив тетрадь на стол раскрытой. Говорил он без нажима, ровно, как читают вслух судовой журнал, и от этого его словам верилось сразу.

— Куда он при этом смотрел? — спросила Маргот, откладывая блокнот в сторону.

— На поместье, прямо на поместье, — ответил Билл.

— И вы в этом совсем уверены? — не отставала Маргот, наклоняясь вперёд.

— Я не уверен в том, что он не маяк, — признался Билл. — Я уверен, что он горит с земли. У маяка есть отблеск на воде, а у этого отблеска не было.

Он раскрыл тетрадь шире и показал колонку: дата, вре-

мя, «огонь на мысу, стоит, не крутится». Против этой строки стоял его ровный карандашный крест — так Билл отмечал то, чему не находил объяснения. Помолчав, он добавил:

— И море в ту ночь было спокойное, странно, правда? Когда срывается ветер, вода даже у берега идёт, а тогда стояло стеклом — как будто море тоже не хотело смотреть.

Маргот переписала к себе «стояло стеклом» и подчеркнула; Билл, заметив, не удивился — в гавани давно привыкли, что она берёт слова цитатами.

Хеми поставил наблюдение у ворот — тихо, без машины, потому что машина в Бухте слышна за два холма — и попросил Дэниела поставить камеру на дорогу.

Дэниел приехал через час с двумя камерами — тяжёлыми, чёрными, в чехлах, которые он расстелил на капоте с аккуратностью аптекаря, раскладывающего склянки.

— Одна на ворота, — Дэниел поднял первую. — Вторая на дорогу, у поворота к старой мельнице. Ни в коем случае не на дом: на дом смотреть неприлично, это всё равно что подсматривать.

— А на дорогу тогда можно? — уточнила Маргот, не желая сдаваться.

— На дорогу можно, дорога публичная, по ней люди ходят, — подтвердил Дэниел.

— И много там людей ходит? — Маргот подняла бровь, глядя на дорогу.

От ворот подошёл Хеми, вытирая ладони платком.

— Ночью — никого, и это, Дэниел, самое интересное: камера на дороге ночью показывает пустоту. Всё, что мы на ней увидим, станет исключением, а исключение легко описать.

Дэниел выставил интервал, проверил карту памяти и встал так, чтобы не попадать в кадр: он единственный во всей компании всерьёз заботился о том, чтобы камера сняла именно ночь, а не людей, которые эту ночь охраняют.

К обеду в Бухте уже знали, что в поместье Эшфорд ходит призрак.

Строго говоря, знали человек восемь, и почти все они были пенсионерами. Остальные тоже знали, но держали рот закрытым. Шёпот шёл привычным маршрутом: от пекарни к почте, с почты в прачечную, из прачечной обратно — уже с подробностями.

Призраком считалась Виктория Эшфорд, недавняя хозяйка поместья: город помнил её живой ещё вчера, помнил, как она ходила по рядам с садовыми ножницами и разговаривала с кустами вполголоса, и потому бояться её никто не собирался — скорее, слушали. По бухтинской версии, при жизни Виктория держала виноградник в закладной и теперь вернулась проверять залог: ходит между рядами, смотрит, на месте ли бумага, а раз всё на месте — уходит до следующей ночи. История была удобна всем, кроме самой Виктории, и потому жить могла долго.

— Виктория была своя, — заметила Линда. — А призраки плети не обрезают.

— Я не о том, — бросила Нора.

— А о чём тогда ты, Нора? — спросила Линда, подпирая щеку ладонью.

Нора не ответила — только сняла перчатку и пошла к рядам, оставив Линду с этим вопросом, а вопрос был нехороший.

Маргот слушала эти разговоры и молчала, потому что знала: если она скажет вслух то, что знала, — что работал человек, а не призрак, — город решит, что она запрещает призрака, а это её испортит. Запрещать бухтинского призрака она и не собиралась: от этого получают только враги и ни одного нового свидетеля.

Вечером она позвонила Хеми и поехала в город — в контору совета кооператива, где хранились бумаги по поместью. Про призрака там тоже шептались, и шептались с удовольствием: дескать, Виктория Эшфорд вернулась проверять закладную, при ней весь виноградник был вписан в ту бумагу построчно, вот она и ходит теперь по своим строкам. Ключи от поместья Хеми взял там же, в совете: дежурный выдал ему связку против записи в журнале, спросил, не по призрачному ли делу, и Хеми ответил, что по бумажному. После этого он поехал сразу.

Внутри пахло старой бумагой, и это был лучший запах в мире, и Маргот ненавидела его за то, что он означал также запустение. Лампа над столом включалась шнурком и мину-ту покачивалась, двигая тени по стеллажам с коробками. На

коробках были аккуратные ярлыки: «Закупки», «Договоры», «Разное (не разбирать)».

Она разложила на столе план поместья, напечатанный в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом, снятый с доски в правом нижнем углу у входа, и обнаружила на нём линию, проведённую тонким карандашом поверх печати: из коридора у лестницы — через низкую дверь, которой нет на плане, потому что её заложили при перестройке, — в дальний погреб.

— Вот ты где, — пробормотала Маргот вслух.

Линия была проведена одним движением, уверенно, и не соврала ни на повороте, ни у самой двери: карандаш лежал ровно там, где в действительности стояла стена.

Она сфотографировала план, показала Хеми, и он приехал в поместье. Вместе они нашли эту дверь: она была на месте, заложённая кирпичом на две трети, и ровно треть была заложена так, что кирпич можно было вынуть тихо, изнутри, не ломая. Верхние кирпичи держались на собственном весе, без раствора, и были потёрты по рёбрам — их вынимали и вставляли не один раз, и делала это рука терпеливая и неширокая.

— Кто-то знает про этот ход, — Хеми провёл лучом по кладке. — И этот кто-то рассчитывает, что никто не полезет сюда ночью.

— Могут и полезть, — возразила Маргот. — Это постороннему интересно, мне интересно, вам интересно. Стоит ли ставить ещё одну камеру?

— Стоит, только не здесь, — отозвался Хеми.

— А где именно вы его поставите? — спросила Маргот, поднимая фонарь выше.

— Внутри, на полпути, у поворота, направленная в погреб, — пояснил Хеми. — Если человек идёт оттуда, камера увидит, и если идёт обратно — тоже. Дверь мы оставим как есть.

— Вы серьёзно хотите оставить дыру в стене?

— Я серьёзно хочу оставить дыру в стене, — Хеми выпрямился и потёр переносицу. — Потому что если мы её заложим, то тот, кто ходит, узнает об этом завтра, а если не заложим — будет ходить дальше, и мы увидим, куда он идёт. Это называется наблюдением: это не ловушка и не охота, мы ничего не ловим. Мы просто держим дверь открытой и записываем, кто через неё проходит.

Спорить Маргот не стала: она работала с Хеми Ропата четвёртый год и до сих пор не понимала, в какой момент он перестал проверять её и начал проверять себя. Камеру внутрь хода ставил Дэниел — он вернулся с кронштейном, фонариком на резинке и терпением человека, который монтирует под землёй, и минут через десять объявил, что угол взят.

Они разбирали архив до одиннадцати, потом поехали в книжный — потому что у Маргот было обещание, а у Хеми было четыре часа дописать протокол.

Элеанор сидела за столом с коробкой неразобранных бумаг и, кажется, спала, подперев щеку рукой, — привычка

двадцатилетней давности, когда коробки были меньше, а ручки длиннее. Маргот толкнула дверь, звякнул колокольчик, и Элеанор не проснулась.

— Простите, — Маргот с порога подняла ладонь. — Я знаю, что это поздно.

Элеанор открыла глаза, посмотрела на неё и убрала руку от щеки слишком быстро, что выдало её полностью.

— Я знаю, что вы знаете, что это поздно, — отозвалась она. — Садитесь: вы пришли сказать, что в доме ходят.

Она жестом показала на стул и налила Маргот травяного настоя из высокой кружки, не спрашивая, хотят ли гости пить: у неё всё, что наливалось, наливалось всерьёз.

— И откуда же вы знаете? — удивилась Маргот, присаживаясь на стул напротив.

— Потому что мне позвонила Нора, а Нора не звонит без причины, а причиной был Хеми, а Хеми звонит, только когда ему нужна бумага, — Элеанор пододвинула коробку. — Садитесь, это, кстати, то, что он просил.

Маргот взяла лист и прочитала: время, что видела, что слышала, куда не пошла. Бланк был хеминского производства: узкие графы, место под дату и три вопроса, напечатанных по левому краю. Ниже оставался чистый интервал — для того, о чём человек вспомнит позже.

— Вы пишете так, будто пишете показания.

— Я пишу так, будто пишу опись, — Элеанор подвинула лампу ближе. — Это почти одно и то же. Разница в том, что

описать описывает, что есть, а показания — что человек видел. Я предпочитаю первое, но сегодня пишу второе.

— А почему не в микрофон?

— Микрофон у меня для подкаста. Для подкаста я говорю о книгах. О ночных прогулках я не говорю.

— И это правильно, — подтвердила Маргот. — И вообще: если ночью приносят вам ещё один эпизод, вы спрашиваете «зачем» или «что вы хотите узнать»?

— Спрашиваю: «вы это сами придумали или вам сказали». В подкасте это плохо звучит.

Элеанор разгладила лист ладонью, как гладят выстиранное бельё, и уложила в коробку верхним.

Маргот допила настой, оставила листок и ушла. На улице было холодно и очень тихо. Она шла мимо тёмной пекарни, мимо запертой прачечной, и в окнах гавани дремал единственный огонь; мыс стоял чёрный, без единой точки, и Билл остался бы доволен своей точностью. Она шла и думала о том, что Нора не звонит без причины, Пател молчит, когда надо говорить, а Элеанор спрашивает, само ли это придумалось или кому-то передано. Три человека, три способа не отвечать на вопрос.

К ночи камера встала на место. Первый кадр был пустым: дорога, ворота, трава, которую ветер гнал в одну сторону.

Они с Джошем сидели в кухне при притушенном свете и смотрели на маленький экран, прислонённый к солонке. Таймлапс шёл кадр в четыре секунды, и кадры ложились ров-

но, как капли из пипетки: пустая дорога, закрытые ворота, трава, тень от дерева шевелилась и успокаивалась.

— Первый кадр снят, — Дэниел заглянул с крыльца. — Всё на месте: дорога, ворота, трава.

— Тогда покажите мне второй, — попросила Маргот.

Они молчали, потому что не знали, что делать с тем, что видели: пока не видели ничего. Экран был пуст, и оба это понимали.

Они просидели до половины второго. Ожидание было похоже на медленное брожение: снаружи ничего, внутри — работа. Джош дважды сходил за водой и один раз просто пройтись; чашка у Маргот остывала и наполнялась снова — не для питья, а чтобы руки были заняты.

— Пойдём спать, пойдём, — Джош поднялся, потянулся так, что хрустнуло в плече.

И в этот момент в кадре, на краю, где кончалась трава и начиналась тень от деревьев, мелькнула точка света.

Она прошла по кадру — медленно, с остановкой, — и исчезла.

Маргот отмотала назад: два кадра пустых, потом свет, потом снова два пустых. Точка стояла низко, на уровне руки, и двигалась так, как двигается человек, который знает дорогу и никуда не торопится.

Маргот посмотрела на Джоша; Джош посмотрел на Маргот.

— Ну что, ты это видела? — спросил Джош, глядя на

экран.

— Видела, — Маргот ткнула пальцем в экран. — И теперь мы знаем, что у нас есть свидетель, который не спит, ничего не ест, не пьёт и не спорит, и лучше восков свидетеля не найти.

Они пошли спать, а камера продолжала писать, потому что камеры не спят, и это, подумала Маргот, единственное преимущество камер перед людьми: им не нужно разрешение, они не устают и они не начинают объяснять, почему это неприлично.

Глава 5. Афиши и речь

Элеанор зашла в десять, когда первый тираж уже лежал стопкой на столе.

Печатная машина Тревора Уилера стояла у окна и стучала. Не ровно: на второй минуте сбивалась с такта и возвращалась. Элеанор, которая ходила сюда дважды в месяц двадцать лет, слушала этот перебой как слушают родственника, который кашляет на втором вдохе, — и, однажды услышав у соседей по улице ровный стук, спросила, не заболел ли Тревор.

Мастерская пахла краской, олифой и тёплой бумагой; вдоль стены тянулись кассы с литерами, рассортированными так основательно, что чужой человек нашёл бы нужную букву часа за два. Над кассами висели переплётный пресс, мотки марли и три сушильные верёвки; на одной, прихваченные прищепками за угол, сохли вчерашние афиши, и от них по мастерской шёл ровный сквозняк страниц. Руки у Тревора были в старых красных пятнах — не от крови, от сурика; он утверждал, что переплётчик без пятен, как пекарь без муки, не бывает.

— Ты слышишь, как она стучит? — спросила Элеанор, закрывая за собой дверь.

— Слышу, — отозвался Тревор, не отрываясь от машины.
— Она считает дни до ярмарки.

— Откуда она знает про праздник?

— Она знает всё, и она, правда, единственная в этом доме, кого нельзя уволить за грубость.

Стопка была хороша, ещё тёплая от машины. Плотная бумага, чуть шершавая, с рисунком, который Тревор делал сам: гроздь, волна, и между ними — маленький зазор, в котором, если присмотреться, читалось слово «долг», а ещё глубже, на второй линии, — «назад». Элеанор повернула лист к свету, потом к окну, потом обратно к свету: слово не отпиралось с первого раза, оно было запрятано в рисунок так, как прячут ключ под ковриком, — нарочно на видном месте.

— Откуда в афише слово «долг»? — спросила Элеанор, держа лист перед собой.

— Из афиши двадцать второго года. Я тогда нарисовал гроздь, а печатник, у которого я стажировался, спросил: «Это виноград или долг?» Я не стал спорить: он был старше меня на двадцать лет и обычно оказывался прав.

— И ты снова его пустил в дело?

— Я сохранил: бумага дорогая, а слово бесплатное.

Он взял у Элеанор лист, приложил линейку и провёл ногтем по краю — проверял, ровно ли легла рамка. Ровно. Тогда он поставил на обороте, в самом углу, карандашную цифру: двадцать четыре. Столько афиш ушло в первую партию, и каждую из них он знал в лицо.

В списке мероприятий, который принесла Элеанор, значилось: цветы, ягнята, консервы, соревнование лесорубов,

конкурс ревеневого пирога.

— Лесорубы — это серьёзно, — заметил Тревор. — В прошлом году они порубили чужую поленницу и спорили четыре часа, чья это была поленница. Победил тот, у кого было топорщице тоньше.

— А что будет, если пойдёт дождь? — Элеанор посмотрела на стопку у окна.

— Тогда афиши намокнут, — ответил Тревор.

— И что вы тогда будете делать?

— И ничего страшного, — добавил Тревор. — Нанесём лак, подсушим, а может, и не подсушим: люди читают мокрые афиши под зонтами, потому что дождь их не останавливает. А вот афиша без дождя — это просто бумага, и это меня огорчает.

Элеанор записала в блокнот пару слов про лесорубов, поставила вопросительный знак и вернулась к окну: список для подкаста не двигался, но утро ещё было впереди.

В одиннадцать, когда Элеанор ещё сидела у окна с блокнотом, вошёл Хейл.

Он вошёл так, как входят люди, которые точно знают, что их ждут: без оглядывания, с приветствием на середине комнаты, с рукопожатием. Тревор потом двенадцать минут мыл руки, хотя он моет их три раза в день по часам и рукопожатие к этому расписанию отношения не имело.

Хейл остановился у прилавка и положил портфель с медными застёжками ровно параллельно краю, как кладут не

вещь, а обещание.

— Мистер Уилер, мне нужна копия.

— Копия чего, если не секрет?

— Речи для праздника, — пояснил Хейл. — Я хочу, чтобы вы напечатали её заранее.

— То есть вы пишете, отдаёте мне, я печатаю, отдаю вам обратно, и вы уходите?

— Да, — подтвердил Хейл, не меняя позы.

— И зачем же вам это?

— Чтобы речь существовала раньше, чем её кто-нибудь услышит.

— Я правильно понимаю, что вы написали речь?

— Да, — ответил Хейл без паузы.

— И вы хотите, чтобы я напечатал, но вы её не прочтёте?

— Я её прочту в своё время, — Хейл на секунду поднял взгляд. — Вы печатайте, пока руки ещё помнят. Машина у вас вон та: если она встанет, то встанет навсегда, и пропадёт не только бумага.

Тревор не ответил сразу: он положил ладонь на стол — Элеанор видела этот жест дважды за этот год, и оба раза он предшествовал согласию.

— От руки, — уточнил он наконец. — Если будете писать — пишите от руки.

— Почему от руки, можно спросить? — спросил Хейл после короткой паузы.

— Потому что я слышал машинный шрифт двадцать лет.

Это как разговор, в котором все говорят на «вы». Сейчас, впрочем, все так говорят. Но в вашей речи должно быть «ты». И «ты» слышно только когда пишет рука.

— Вы чувствуете бумагу, — вставил Хейл.

— Я чувствую бумагу, — согласился Тревор. — Бумага чувствует всё, что на неё кладут, потому и тяжелее всего.

Хейл достал из портфеля лист, сел у окна и начал писать. Тревор вернулся к машине, дал ей поработать минуту, потом обернулся — и увидел почерк.

Хейл писал пером, такая его в чернильницу-непроливайку, и держал корпус так прямо, будто под пиджаком у него была линейка.

Почерк был ровный: не каллиграфический, не выставочный — просто очень ровный, с одинаковым нажимом на каждой букве, и ни одной помарки, ни одной лишней точки.

Человек, который пишет так, либо очень любит бумагу, либо очень боится её.

Тревор подошёл, наклонился к столу и прочитал первые строки: «Весна — лучший аудитор. Она приходит без предупреждения, открывает всё, что было закрыто, и не спрашивает разрешения».

Потом он приподнял лист за угол — ровно настолько, чтобы Элеанор успела разглядеть строчку, но не прочитать её, — и положил обратно ровно так же. Тревор не дал бы прочитать и без Хейла: он не показывает чужому, что написал заказчик.

— А вот это, — Тревор показал пальцем на вторую страницу, — вы правда хотите напечатать?

Там было: «Я приехал в эту Бухту, чтобы вернуть кое-что, что задолжал. Не руками — руками я давно не беру. Я приехал сказать при всех».

— Хотите, — повторил Тревор, убирая палец со страницы.

— Да, — подтвердил Хейл, не глядя в лист.

— Тогда я печатаю, — Тревор задвинул кассу с набранными литерами.

Хейл дописал, и Тревор снял копию прямо с листа; потом Хейл сложил оригинал вчетверо и убрал его во внутренний карман. Элеанор видела, как он перед этим поднял глаза на Тревора и коротко кивнул: благодарность за то, что слова останутся его, или, возможно, обещание их напечатать. Разницы в ту секунду не было. Потом поблагодарил, расплатился наличными, назвал точную дату: тираж должен быть готов за четыре дня до праздника, раньше нельзя, потому что «бумаге нужно полежать».

Тревор не стал спрашивать, зачем бумаге полежать. У него и у самой бумаги было предостаточно причин.

К обеду он прогнал первый оттиск и, прежде чем пустить его в тираж, показал Элеанор — она всё это время сидела у окна с блокнотом, но к списку для подкаста так и не приоткрылась.

— Ты смотри, — Тревор вынул оттиск и положил перед

ней. — Здесь ровно, а вот здесь я поправил.

— Ты поправил чужую речь — и где именно?

— Я поставил одну запятую, — пояснил Тревор. — Он написал: «Когда приду в эту Бухту» — без запятых, и я поставил её.

— Тревор, это ведь не твой текст.

— Это его текст с моей запятой, — ответил Тревор. — Восемьдесят лет назад мою запятую вырезали бы, и это было бы правильно. Сейчас это было бы неправильно. Сейчас типография стала храмом, а в храмах не вычёркивают — там добавляют.

Элеанор посмотрела на оттиск, на строку с запятой и подумала, что человек, который берёт чужую фразу и ставит в ней знак препинания, должен отвечать за это. Тревор за это отвечал — и отвечал правильно.

Он убрал оттиск в папку «спонсоры», и папка эта, подумала Элеанор, была заведена впервые за двадцать лет и лежала теперь на полке, где для подобного ничего не предусмотрено.

После обеда в Бухте состоялось событие, ради которого Элеанор готовила этот выпуск подкаста с осени: первый рейс «Очереди».

«Очередь» — это сезонный рейс на старом катере, который с первых тёплых суббот выходил за уайтбейтом, а когда рыбы стало меньше, а туристов больше, стал брать пассажиров за отдельную плату. Катер был белый, с зелёной полосой

и с протекающей каюткой. На борту ещё виднелось прежнее имя — «Кофе», выведенное краской по дереву; никто не помнил, кто его придумал и что оно значило, но пассажиры на отплытии кричали «Кофе, плывём», и это, в общем, всё объясняло.

Сара называла это «морской очередью чтения»: у трапа стоял ящик из книжного с двусторонним обменом, рядом жестяная банка с деревянными номерками. Номер один читает вслух, номер два держит книгу против ветра, номер три держит кружку с кофе и никому не мешает; очередь двигалась медленнее, чем катер, и в этом был весь смысл.

Сара Квин, тридцать лет, продавец книжного, была в этом году у руля литературной части рейса — так она сама это называла, и никто не возражал, потому что возразить было нечего.

— Правило простое, — объясняла она Элеанор заранее. — Ты выбираешь книгу, которую никогда не читала, и читаешь вслух, пока едем. Идёт час: успеваешь — хорошо, не успеваешь — доезжаешь молча, и это тоже разрешено.

— А если кому-то станет грустно и он заплачет?

— Плачут, но мы делаем вид, что это ветер, — ответила Сара.

Первый рейс шёл в тот день, когда Элеанор записывала подкаст. Подкаст вышел на двадцать минут: шум воды, голос Сары, чтение.

Туристов было двенадцать: четверо с удочками, семеро с

камерами и один, постарше, который с самого выхода держался за леер и спрашивал, далеко ли до глубокой воды. Джош отвечал ему коротко: «Есть», «Нет», «За мысом», — и старик, кажется, остался доволен.

Сара читала «Регби по понедельникам» вслух, глядя на берег, и делала это так, что две женщины на корме перестали разговаривать и слушали, и одна из них потом признавалась, что это была лучшая строчка, которую она слышала в этом году.

— Если бы книга умела себя защищать, — Сара наклонилась к микрофону, — она читала бы вслух на катере.

Джош Барретт, двадцать четыре года, работник погребов и капитан «Очереди» по выходным, стоял у штурвала и не слушал чтение, а слушал воду, потому что воду он слышал по-другому.

— А вам не скучно здесь, Джош? — спросила Элеанор, поднимая голос над водой.

— Мне скучно, когда вода меняется, — бросил Джош. — А сейчас она идёт вразнобой, и никто не смотрит.

— А вы смотрите, это ведь работа, — возразила Элеанор.

— Это отдых, — Джош усмехнулся. — Если бы на работе надо было так же внимательно смотреть на воду, мы бы жили в Нельсоне.

На обратном ходу Сара прошла на нос, села на ящик у самого борта и раскрыла книгу. Джош молча подвинул ей свою кружку с кофе — ту самую, в три полоски, — и вернулся к

штурвалу. Сара отпила и продолжила читать; никто из них ничего не объявлял, потому что объявлять было нечего.

На берегу стояли яхты и рыбацкие лодки, и Сара, глядя мимо яхт, обронила: «Красивый берег». Джош не повернул головы: «Берег всегда красивый. Просто сегодня мы его видим». Элеанор записала эту фразу дословно, потому что поняла, что это, возможно, самое честное, что прозвучало за весь день.

Вечером Джесс повесила на доску объявление о конкурсе пирога — с подробными условиями, потому что Джесс была женщиной, которая верила, что любой конкурс без подробных условий превращается в спор. Сначала она объявила всё вслух, с порога пекарни, сложив ладони рупором:

— Внимание! Конкурс! Ревеневый! Работы — на доску, жюри не кормить! Первое место — павлова с киви, второе — банановый хлеб, третье — ничего, зато с достоинством!

Толпа у пекарни — в основном дети и Айзек Лоу — поаплодировала. Кто-то спросил, засчитают ли маффины с курмарой, и Джесс на миг задумалась серьёзно.

— Кто не читал правила, тот не участвует, — объявила она Саре, которая спрашивала, можно ли участвовать.

— Я читала, — ответила Сара с достоинством.

— Ты не читала, ты заглянула на последнюю строчку, — возразила Джесс.

— Там было написано: «кто кормит жюри, тот не судья», — и я подумала, этого достаточно.

Объявление провисело на доске четыре дня. Кружки для голосования стояли на подоконнике, и счёт вёлся карандашом прямо на листе: Джесс не доверяла пересчёту задним числом. Перед итогом она пересчитала кружки дважды, хотя оба раза выходило одно и то же: у честного счёта, любила повторять она, должно быть хотя бы два шанса. К полуночи последнего дня стало ясно, что победила Элеанор. Второе место досталось Маргот: она испекла ревень с кардамоном, никогда об этом не говорила и узнала о своём втором месте из объявления на доске — на следующее утро, за кофе.

— Значит, торт, — бросила Джесс, глядя в кружку.

— Ревеневый, — поправила Элеанор. — Слово «торт» я не использовала.

— Ревеневый, — согласилась Джесс с видом человека, который проиграл и решил не портить формулировку. — Ты положила в него яблоки.

— Яблоки для объёма, ревень для характера. Ты сама так говорила в объявлении.

— Я это в объявлении не писала.

— Про яблочную слойку ты писала: «Яблочная слойка — про вежливость», а «ревень — это серьёзно» — это твоими же словами.

Джесс открыла рот, закрыла и посмотрела на доску, где объявление висело уже четвёртый день.

— Ревень в Бухте теперь никто не признает, ты это понимаешь? — буркнула она наконец.

— Понимаю лучше, чем ты думаешь, — ответила Элеанор.

— И всё равно ты это сделала?

— Ревень признают, когда попробуют, — ответила Элеанор.

— Я всю жизнь работаю с тестом, — призналась Джесс. — Я знаю, что с яблоками выходит мягче, выходит сладко, выходит всюду приятно. Ты сделала приятно и назвала это характером.

Элеанор отметила, что Джесс не злится, а расстраивается. Это было гораздо хуже, потому что с Джесс в злости можно было бы поспорить, а расстроенную Джесс утешали всем городом и при этом — молча.

Зато Айзек Лоу, пенсионер, который вёл в Бухте бесплатные описи городских собраний, написал на обороте объявления: «Учредить — не ревень, а учредитель — также яблоки; проверьте. Подпись: ревеневый учредитель». Это было так смешно, что объявление сняли, а записку оставили — и повесили на её место.

Наутро Элеанор приехала в Эшфорд за списком для подкаста и застала Маргот у погребка — с блокнотом, из которого она, судя по всему, ничего не записывала.

Погреб стоял торцом к дороге, с двустворчатой дверью, выкрашенной в тот же зелёный, что и полоса на «Очереди»; в холоде за дверью дремали полки с консервами, коробки с описями Айзека и свёрнутые прошлогодние гирлянды. Дос-

ка объявлений висела рядом, под навесом, и дерево у неё было такое тёмное, что любой свежий листок смотрелся на нём как вспышка.

— Вы прочли то, что было на доске? — спросила Маргот вместо утреннего приветствия.

— Нет, я его не видела, — Элеанор поставила сумку на приступок. — Что там?

— Список, свадебный: кто, с кем и когда — на листке, на доске, с кружкой и карандашом рядом.

Элеанор подождала продолжения, но его не было.

— Что не так с листком?

— Я видела его позавчера, когда приезжала за описью. Листок был на доске, кружка стояла рядом, карандаш лежал в кружке. Я его не читала — это не мой листок. А вчера приехала, а на доске пусто — ни листка, ни кружки. И я не знаю, что хуже. Одно только видела, и то боком: пока листок висел, его правили — под ним всё время были грифельные крошки, будто стирали и писали заново. Кто правил, не знаю; я не смотрела, потому что это не мой листок.

— Ты хочешь, чтобы я это записала?

— Нет, я хочу, чтобы ты это видела, — ответила Маргот. — Потому что через неделю или через год кто-то скажет, что такого списка никогда не было, и мы обе будем знать, что он был: свидетелей двое, а бумага одна.

Элеанор посмотрела на доску: дерево было тёмным, и на нём оставался светлый прямоугольник там, где что-то висе-

ло. Прямоугольник был ровный, с чёткими краями, и это было почти хуже, чем если бы дерево сгнило: значит, листок висел долго, и снимать его никто не спешил.

— Тогда я это запротоколирую, — пообещала Элеанор. — Не список, а прямоугольник: сегодня, в таком виде, твоими словами.

— Это ведь ничего не доказывает, — возразила Маргот.

— Нет, но завтра на месте прямоугольника может не быть ничего, — согласилась Элеанор. — И тогда у нас будет хотя бы «было».

Она записала это стоя, прислонив блокнот к дверному косяку; буквы вышли ровные, твёрдые, в конце — дата, время и слово «свидетели: двое». Маргот прочла из-за плеча и выдохнула. Прямоугольник на доске к вечеру так и остался прямоугольником — но теперь он был протоколом.

Глава 6. Две ночные смены

Нора Уитакер работала в погребѣ начиная с девяти вечера. Днём она спала, днём в погребѣ было светло, а днём по погребу ходил Дэниел с камерой. После заката погреб менялся: камень набирал влажность, и в воздухе проступал винный дух, который за десятилетия впитался в стены.

Северный ряд нужно было закончить к цветению, а цветение не подписывало с тобой договор и не выбирало дату. Оно приходило, когда считало нужным, и к этому моменту все обрезки должны быть сделаны, потому что побег, которому не дали укоротиться, идёт вверх вместо туда, куда его послали, и потом с этим кустом приходится разговаривать отдельно и долго. Нора работала без спешки: примеривалась, держала плетъ левой рукой, резала одним движением и складывала срезанные плети в узкие вязанки, чтобы утром их легко было унести. На счёт у неё шёл каждый ряд: сколько срезов, сколько времени, что оставить на завтра, — график Нора держала в голове целиком и не доверяла его никому. Секатор она точила по воскресеньям и протираала маслом — Нора вообще относилась к инструменту так, как другие относятся к обещаниям.

— Ночью, — бросила Маргот у двери погреба, не заходя.

— Ночью, — повторила Нора и осталась при своём.

Маргот была убеждена, что темнота не опасна сама по се-

бе — темнота просто лишает свидетелей.

— Свидетели мне не нужны, — ответила Нора, не поворачивая головы. — Мне нужен свет и тишина: я здесь обрезаю, и никого не трогаю.

— Мистер Уилер печатает афиши по ночам, — заметила Маргот. — И он тоже никого не трогает.

— Мистер Уилер — это договор, а не факт, — возразила Нора. — Факт в том, что второй ряд я обрезаю одна, а если ряд кончается раньше, чем я думала, — обрезаю утром.

Нора вложила в это столько производственной убедительности, что Маргот сдала позицию без боя и осталась у двери.

Она сидела в кабинете при поместье до часа, слушала, как внизу работают ножницы — сухо, дважды, пауза, сухо, — и обнаружила, что ей это нравится больше, чем разговоры. В доме всегда кто-то говорил: кооператив, соседи, Джесс с пересказом всех разговоров за неделю. Здесь было тихо, и тишина была не пустая, а рабочая. Время она сверяла по секатору: триста срезов в час, если рука свежая, — и по этому счёту выходило, что к полуночи северный ряд будет закрыт.

Перед часом она спустилась, и в нижнем конце погреба, у дальней бочки, горел второй фонарь. Холод шёл навстречу, и чужой свет лежал на бочках косыми полосами. Ступени были стёрты посередине: по ним сто лет поднимали ящики, тяжелее всякого любопытства. Маргот остановилась на второй ступеньке.

— Вы забыли знак, — напомнила Маргот.

— Я ничего не забыл, — отозвался Хейл из темноты, — я считаю.

Он стоял в стороне, спиной к бочкам, и смотрел на ряды. Он был в рабочей куртке, с закатанными рукавами, и в этом виде он был не спонсором и не брокером, а просто человеком, который пришёл ночью в чужой сад и, кажется, не понимает зачем.

— Вы уже второй раз здесь, — отметила Маргот.

— На самом деле третий, — поправил Хейл. — Первый раз я пришёл осмотреться, второй — вам показать ту плеть, которую надо обрезать в первую очередь, а сейчас я здесь за работой.

— Вы же не работаете, — Маргот подняла бровь.

— В том и дело, что не работаю, — согласился он. — Но я умею отличать работу от подготовки к ней, и сейчас здесь всё подготовлено.

Маргот посмотрела на ряды, и они выглядели хорошо — это и было её удивление. Свежие срезы блестели ровными кружками, и ряд уходил вглубь прямым, как по шнуру.

— Дэниел Рейес установил камеру на дороге, — она сошла со ступеньки в свет. — Я знаю, что вы знаете: камеру установили не для зайцев.

Хейл молчал, и она поняла, что он действительно знал. Ничего не изменилось в его лице, хотя человек, которого уличили, обычно меняется хоть чем-нибудь.

— Камера не нарушает границу, — наконец ответил он.

— Всё, что я делаю, — за периметром дома. Я не заходил в дом. Не входил в погреб, когда там были вы. Я прихожу, когда вас нет, и ухожу, когда вы приезжаете.

— Это не ответ на мой вопрос: мой вопрос был «зачем»?

— Это и был ответ на ваш вопрос, — парировал Хейл.

Он чуть поднял фонарь, и свет пошёл по ступеням вверх, к Маргот.

— Я не буду вам объяснять, и не потому, что не доверяю. Потому что объяснение — это половина правды, а половина правды хуже, чем отсутствие. Я не хочу сказать вам половину.

Маргот стояла и слушала, как капает вода в углу — двадцать два удара в минуту, она считала с детства, ещё в первом погребё.

— Тогда правило, — выдохнула она наконец.

— Какое ещё правило, — спросил Хейл.

— Ночью в поместье не ходит никто и нигде: ни вы, ни я, ни Нора, ни ребята из кооператива. Я проголосовала за это правило, и я первая нарушила его в мыслях, но не в деле. Если вы согласны ходить при мне — значит, вы готовы говорить при мне.

Хейл смотрел на неё, и в его взгляде было что-то, чего она не сразу опознала, а потом опознала: благодарность за то, что её предложение было таким: не «уходите», не «кто вы такой», а «говорите при мне».

— Я согласен, — он не стал тянуть, — но только не сего-

дня.

— Почему не сегодня, — спросила Маргот.

— Потому что сегодня я обещал себе, что скажу. А обещание — это приказ, который можно нарушить, но только один раз.

Он отступил в темноту, и Маргот не двинулась с места.

Она стояла, слушала, как он уходит, и считала шаги, потому что в погребке Эшфорд звук уходит не сразу, а с опозданием, и шаги слышны ещё тогда, когда человека уже нет. Десять шагов, поворот, скрип двери. Потом — шаги вверх по наружной лестнице, и всё.

Она подождала ещё десять минут и пошла следом, потому что не выполнить правило, которое сама же установила, было бы хуже, чем выполнить его.

Наверху фонарь Хейла стоял у дальней калитки, на камне, кремень обёрнут тряпкой, и тряпка была мокрая — то ли от дождя, то ли от того, что сюда дуло с моря. Жестяной бок был ещё тёплый: погасили его меньше минуты назад.

Хейла не было.

Где-то на холме, за полем, уходил свет фонаря — медленно, ровно, в такт шагам. Пешком, в такую темень, по неосвещённому холму — так ходят те, кому дорога сама по себе что-то стоит.

Он ушёл пешком, и Маргот стояла и слушала шаги, пока холм не закрыл его от погреба: шёл он ровно, ни разу не остановился, и до калитки добрался пешком — хотя до ав-

тобуса можно было дойти за десять минут.

«Свет» — так она записала в блокноте и подчеркнула дважды. Свет входит и гаснет — или входит и остаётся.

Она записала ещё: «Работал один, метки оставляет, правило принял — говорить при мне. Значит, прятаться не хочет, а хочет, чтобы его увидели, — и это не одно и то же».

Наутро Дэниел показал им обе записи — вывел их на экран, отмотал к половине двенадцатого и откинулся, давая самим увидеть то, что увидел.

— Ничего смешного, — сразу пояснил Дэниел. — Обе записи чистые, ни одной машины и ни одного человека, кроме вас. И вот тут, — он показал, — между вашими кадрами есть дыра.

— Между какими кадрами, — спросила Маргот.

— Между ночью, когда работали вы, и ночью, когда работал он. В записи с дальнего угла между 23:14 и 23:20 свет пропал. Полная темнота, ни единого пикселя, — и потом камера вернулась.

— Может, сбился фокус, — заметила Маргот.

— Фокус не сбивается, — покачал головой Дэниел. — Он отключается, и это шесть минут, в которые камера не писала.

— Это техника, — вставила Нора, которая пришла посмотреть и стояла у двери.

— Техника не выбирает, где именно ей лечь, — подтвердил Дэниел. — Техника ложится там, где стоит человек.

— Или там, где нет человека, — не сдавалась Нора.

— Или там, где камеру видно с дороги, — закончил Дэниел.

Они посмотрели друг на друга.

— Дэниел, — спросила Маргот, — ты ничего не говорил в участке?

— Я изложил всё, что нашёл, включая эти шесть минут, и Хеми записал. Но я ничего не говорил вслух, потому что в записи написано «сбой», а запись составил я.

— Сбой так сбой, — повторила Нора. — Может, и сбой, но ты сам себе не веришь.

— Я верю в сбои, — ровно ответил Дэниел. — Это не значит, что я верю в них вслух.

Он закрыл ноутбук и добавил, уже совсем другим тоном, обычным, домашним:

— В этом году зайцы действительно танцуют в три ночи. Я выложу это в канал Хлои, если она не побоится рейтинга.

Рассмеялись все трое. Смех вышел короткий, служебный, но он разрядил то, что висело над столом с самого утра.

В тот вечер Нора пришла к Маргот сама, в кухню, где висел календарь кооператива. Воду она поставила на плиту, но так и не сняла. Лампа над столом качалась от сквозняка, и тень от календаря ходила по стене.

Нора поставила стакан и заговорила как по протоколу:

— Я обещаю вот что.

— Что?

— Что ночью одна не работаю. Я не могу обещать, что не

буду работать ночью или рано, но одна — не буду.

— Мне нравится, что вы это разделили, — отметила Маргот. — Большинство людей обещают сразу всё.

— Я не из большинства, — ответила Нора. — Я приехала с двумя чемоданами и секатором: если обещаю — выполняю, а не выполняю — уезжаю.

— Зачем вам объяснять это вслух?

— Потому что вы всё равно спросите, когда я начну ошибаться, — она помолчала, — а человек, который предупредил, что будет ошибаться, выглядит хуже человека, который не предупредил. Вот и вся причина, по которой я говорю это вслух и ни разу при вас не соврала.

Нора посмотрела на свои руки — те были в перчатках, и она смотрела так, как смотрят на перчатки, когда думают не о руках.

Она ушла, и Маргот осталась с водой, которая всё кипела, и с мыслью о том, что Нора могла бы соврать. Любой другой соврал бы, это было бы проще, и тогда бы просто пошли дальше. Но совравшая Нора была бы другим человеком, а других людей в этой истории Маргот и так умела узнавать.

За окном шёл мелкий дождь, и в такой дождь всё становится ближе: ряды, бочки, человек на другом конце погребка — всё рядом, и всё на своих местах.

Она записала в блокнот — привычку эту она переняла у Элеанор лет назад и с тех пор считала своим долгом:

«Написал — не значит произнёс, произнёс — не значит

правда, а рассказал — не значит доказал».

И под этим, потому что не смогла не написать:

«Доказать — не значит рассказать».

Утром Маргот нашла на двери погребка клочок бумаги, приколотый на одну кнопку, — так прикалывают записки, которые не должны долго висеть. Утро только начиналось, и кнопка держала бумагу косо, будто её приколотили в темноте и наспех.

На клочке было написано от руки, всё теми же прямыми буквами:

«Завтра, в два, я буду обрезать дальний ряд. Если вы хотите знать — приходите; если не хотите — тоже приходите, ничего дурного не случится. Объяснять я не умею, а делать умею».

Записка не была подписана, и Маргот, сняв записку, сложила её вчетверо — прочитать, перечитать, спрятать в карман. Потом вернула на место, приколотая ровно там же, где была, кнопкой в той же самой дырочке. Записки без подписи положено возвращать на место: пока автор не пришёл, он ещё может прийти. На улице рассвет занимался серо, поморскому, и первый свет ещё не решался спорить с лампой.

На доске в кладовой висел календарь кооператива. На ближайшей субботе было написано: «Праздник — 6 недель, сбор урожая вечером, открытие погреба — 4 недели, подготовка афиш — сдать Тревору». Последнюю строчку Маргот зачеркнула и написала рядом: «Спросить, зачем».

Записку Нора исполнила в четверг, в два часа ночи. Маргот не пошла: она стояла наверху, в тёмном коридоре, и слушала, пока скрип и стук не стихли к четырём.

В пятницу вечером Маргот спустилась в погреб за списком урожая и застала Нору у бочки — одну, без конверта, с двумя стаканами на ящике, что означало: разговор уже начался. Мимо дальнего ряда Маргот прошла не сразу: рука сама потянулась к свежим срезам, и она машинально прочитала их, как читают этикетку перед пробой. Угол, нажим, оставленный пенёк — школа была другая, не та, что на срезах позапрошлой ночи. Срезы не были похожи один на другой, как почерк двух людей.

— Сядьте, — попросила Нора, — я хочу, чтобы вы это услышали от меня, а не нашли.

— Услышать что именно, — спросила Маргот.

— Он приходил в погреб в среду днём, когда в доме никого не было, а я была тогда в Нельсоне. Положил конверт на бочку, потому что стол был занят ящиками с черенками, отошёл к стене и сел на свободный стул, не спросив разрешения.

— Это законно, — вставила Маргот, — платить аванс за погреб.

— Он платит не за погреб, — твёрдо ответила Нора.

— Тогда за что, — не поняла Маргот.

Нора подождала и потом передала ровно то, что услышала тогда, сидя на том стуле, — пересказывать своими словами

она отказалась наотрез:

— «За то, чтобы он был; за то, чтобы у города был погреб, в котором хранить то, что мы делаем. Я видел, как работают ваши. И я подумал: в мире, где всё покупается и продаётся, есть вещи, которые покупаются для того, чтобы сохраниться. Куст сохраняется не деньгами — куст сохраняется тем, что кто-то за ним приходит».

Маргот опустила список на ящик и посмотрела на Нору.

— Ты объявила ему, что он не винодел.

— Объявила ему в лицо, — подтвердила Нора. — А он ответил: «Я брокер — не умею делать, а умею покупать». И добавил: «Я купил афиши и заплатил за то, чтобы ваш праздник был на каждом столбе. Я не купил ни одной грозди, и я не приехал сюда пить вино — я приехал, чтобы посмотреть, как у вас всё устроено. И это единственный вопрос, в котором я действительно разбираюсь».

— И как у нас устроено?

— Тихо у нас, — подхватила Нора. — По его словам, он был в двенадцати винодельнях за два года и нигде в середине дня в погребе не сидел. Я сидела два часа, но я работала, а не смотрела. А потом он добавил: «Это не похвала и не упрёк — я просто описываю».

— И что потом, — уточнила Маргот.

— А потом он попросил об одном: когда уеду — а он уедет, — не выкладывать его бумагу на стол в участке. Положить в «Медном чайнике», чтобы прочитали все, кто за-

хочет, и никто, кроме него самого. В участке, объяснял он, бумага становится вещью — её описывают, приобщают, хранят в папке. А в кофейне бумага — это человек, который стоит и говорит.

— И ты согласилась на это, — переспросила Маргот.

— Я ответила, что он просит предать его публично. Он ответил, что просит сделать его тайну общей, и это разные вещи, и что сегодня решать не нужно, — Нора помолчала, — а на «ладно» я всё-таки согласилась, и он ушёл.

Маргот поставила список рядом со стаканами.

— Конверт ты открыла при нём?

— Да, при нём, — подтвердила Нора. — Это моё правило, и я от него не отступаю.

— И сколько в нём было, — Маргот посмотрела на её карман.

— Две тысячи — за погреб на год, — уточнила Нора.

— Нора, — только и выговорила Маргот.

Нора не ответила, только положила ладонь на карман — на бумажный прямоугольник под тканью, — и убрала руку.

— На обороте четыре слова, и я их не покажу.

Маргот нахмурилась. — Почему не покажете?

— Потому что вы бы стали их обсуждать, а я хочу, чтобы они провисели без обсуждения.

Маргот посмотрела на неё долго — Нора выдержала и не отвела глаз, — и поняла, что спорить бесполезно и что спорить она не хочет.

— Ладно, пусть будет по-твоему, — согласилась Маргот.

— Ладно, — повторила Нора. — Последнее: «Уедёшь ты — уйдёшь я» — это его слова. Про обещания я уже всё говорила.

На лестнице Маргот остановилась и вернулась на три ступеньки.

— Нора, — окликнула её Маргот вслед.

— Нет, — отозвалась Нора, не оборачиваясь.

— Зачем вы мне это рассказали?

— Потому что вы бы узнали иначе, — призналась Нора.

— И тогда решили бы, что я молчала. А я не молчала: я ждала, когда вы спросите, — и вы спросили. Это разные вещи, и я не хочу, чтобы у вас осталось об этом другое впечатление.

Маргот проводила её до двери и вернулась к плите: вода всё ещё кипела, и пар оседал на стекле мелкими каплями. Календарь на стене висел ровно, и шесть недель до праздника были отмечены карандашом — тонко, без нажима: дату ещё можно было уговорить.

Глава 7. Утро в 6:40

Телефон зазвонил в шесть пятьдесят.

Элеанор сняла трубку с тумбочки. Будильник у неё стоял на другой стороне комнаты, на тумбочке стоял диктофон, и с тумбочки было ближе всего. За окном ещё стояла ночь; море за дюнами шумело ровно и глухо.

— Элеанор, — раздался в трубке голос Норы Уитакер, которая никогда не звонила.

Нора была человеком, который приходит и говорит в лицо, а по телефону у неё всегда получалось хуже, чем нужно.

— Что случилось, — спросила Элеанор, включая диктофон на тумбочке.

— Он мёртв, — голос у Норы дёрнулся на первом слове и выровнялся на остальных. — Мартин Хейл, он мёртв, он там, в погребё.

Элеанор села — не потому что решила сесть, а потому что в её возрасте ноги принимают решения сами, когда слышат такие слова.

— Ты уверена?

— Я трогала его руку, — призналась Нора. — Здесь проверяют именно руками.

— Не двигай его, — Элеанор уже сидела на краю кровати и нащупывала ногой тапочку. — Ничего не трогай, позвони Хеми, скажи — не отключай телефон, я сейчас приеду.

— Элеанор, — позвала Нора в ответ.

— Да?

— Он оставил фонарь, — добавила Нора. — Фонарь горит, и он его поставил на камень.

Элеанор держала трубку и не могла объяснить себе, почему именно эта деталь не дала ей ехать сразу.

Потом она поняла, потому что она была архивистом: человек, который, умирая, ставит фонарь на камень, а не роняет его на ступени, — это человек, который очень аккуратно отнёсся к последней вещи, которая у него осталась. Это было решение, и оно было принято аккуратно, а не второпях.

Она оделась за четыре минуты — Элеанор Хейс не тратила на одежду больше, чем на то, чтобы дойти до двери, — и поехала.

Дорога в это время выглядела вымытой, хотя дождя не было. Она ехала в молчании, включённом специально, потому что Элеанор водила машину так, как работала с бумагой: аккуратно, с уважением к предметам, и так же молчаливо. У поворота к поместью ей попала овца, отбившаяся от своих; овца посмотрела на фары с личным достоинством и не спешила. Витрины вдоль набережной стояли тёмными прямоугольниками, и только у булочной горело жёлтое окно, из которого пахло кориандром даже через дорогу. Пирс молчал, лодки спали на своих местах, и бухта в этот час была тиха до звона — так тихо, что собственная машина казалась слишком громкой.

Она приехала первой и застала погреб открытым и незапечатанным — ленты на двери ещё не было. Дверь стояла распахнутой, из проёма тянуло каменной сыростью, воском и вином, и всё это было привычным — кроме самой распахнутой двери. Трава вдоль дорожки была мокрая, ступени пахли прошлогодними листьями, и на перилах висела роса, ещё не тронутая утром.

Нора сидела на верхней ступеньке, спиной к стене, и держала в руках секатор. Секатор был чистый, и она держала его так, как держат что-то, забытое на месте. Волосы у неё были заплетены наспех, куртка накинута поверх кардигана, и видно было, что собиралась она не в поле, а на кухню.

— Я не резала, — буркнула Нора, не поднимая головы. Секатор она держала за лезвие, двумя пальцами.

— Сядьте ровно, — Элеанор поставила сумку на бетонную ступень, — а поговорим потом.

Нора не сдвинулась с места.

— Я правда шла мимо, — Нора смотрела на секатор, повернутый лезвием в сторону. — Я встала в шесть сорок, потому что чайка. Я спустилась за стаканом воды, потому что не хотела идти наверх. И он лежал между третьей и четвёртой бочкой.

— Когда вы его увидели — в шесть сорок или позже?

— Я не смотрела на часы, — отозвалась Нора. — Я смотрела не на часы, а на фонарь.

— Фонарь горел всю ночь, — заметила Элеанор.

— Я не знаю, что он делал всю ночь, — ответила Нора. — Я спала, а вы спрашиваете так, будто я должна была знать.

Элеанор не стала спрашивать, почему Нора не позвонила в шесть сорок, а только в шесть пятьдесят. Она знала почему: Нора шла мимо бочек в шесть сорок утра в погреб, где ночью горел свет. Решение не звонить занимает десять минут. За десять минут можно придумать, что ты была занята, что было темно, что показалось.

И ещё потому, — подумала Элеанор, — что фраза «я нашла мёртвого», произнесённая вслух, остаётся в памяти у всех, кто её слышал, и остаётся надолго.

Она села рядом с Норой на ступеньку, ниже, на две ступени, и молчала, и просидела так четыре минуты — ровно столько, сколько требуется, чтобы человек перестал держать в руках то, что держал. Свет из раскрытого погреба лежал на ступенях ровными жёлтыми полосами, и снизу поднимался холод — терпеливый, беззвучный, равнодушный к тому, что случилось ночью между бочками.

Хеми приехал через сорок минут — он ехал медленно, потому что дорога была пустая и это его раздражало.

Он привёз пакеты, скотч и ламинатор, потому что Хеми Ропата был из тех людей, для которых протокол важнее скорости; ламинатор ехал на заднем сиденье, пристёгнутый ремнём. Он опечатал погреб лентой с надписью «не входить, идёт проверка» и комнату в хостеле Прии, где жил Хейл, — на кровати лежал аккуратно сложенный свитер, на тумбочке

стояла мятная жестянка. Ленту он тянул внатяг и провёл по ней большим пальцем, чтобы край лёг без единого пузыря. Перед лентой он сфотографировал дверь с двух сторон и записал время на обороте протокола, размашисто, как ставят дату на чеке.

— Тело не трогать до Пателя, — Хеми выровнял последний сантиметр ленты ребром ладони. — Он приедет только в девять.

— Я знаю, что он приедет в девять, — возразила Элеанор, — я про ленту.

— Ленту я наклею сейчас, — добавил Хеми. — На комнату в хостеле тоже, там на кровати свитер.

Пател приехал в девять, когда в Нельсоне уже пробки; в Золотой Бухте пробок нет, но есть овцы на дороге, и они не торопятся.

Он осмотрел тело, не трогая руками, только глазами и протоколами, — так, как он это делал всю жизнь, потому что, по его собственному выражению, руки у врача старше глаз. Пател работал без спешки: записал температуру, отметил позу, положение рук и то, что фонарь стоит на камне, а не на земле. Бочки стояли в два ряда, и вторые стояли темнее, потому что свет фонаря доставал до них уже по остаточному принципу; Пател передвинулся сам, не тронув ни бочку, ни свет.

— Сердце, — Пател выпрямился. — Он знал о своей болезни.

Он не оставил вариантов «знал или не знал» — он выбрал «знал», потому что Амит Пател не различал эти вещи в диагнозе: сердце, которое не знает о своей болезни, не ломается внезапно — оно предупреждает.

— Жестянка целая, — продолжал тем временем Пател. — Капли все, таблетки на месте. Ничего не подменено и ничего не вынуто.

— То есть подменить их не могли, — уточнил Хеми.

— Подменить могли, — сухо ответил Пател. — Я не могу сказать, что не подменили. Я могу сказать, что не заменили. Это два разных утверждения, Хеми, и в протоколе у меня стоит второе.

— Почему именно второе, — спросил Хеми.

— Потому что второе я проверял, — пояснил Пател. — Первое я проверить не мог.

Хеми записал это и подчеркнул дважды. Отдельной строкой он внёс то, что видел своими глазами при опечатывании комнаты двенадцать: «Мятная жестянка — из комнаты двенадцать, целая, крышка родная, таблетки в полном комплекте, не вынуто ни одной и не доложено ни одной». Эту строку он подчеркнул один раз, потому что факты подчёркивают один раз.

Новости разошлись быстрее обычного: Джесс открылась в семь, а к восьми у стойки стояла очередь, которой не бывает даже в субботу.

Говорили, что спонсор умер за шесть недель до своего

праздника и что это несправедливо, потому что праздник — это как Рождество, только с ревеневыми слойками. Говорили ещё, что он был слишком молод, чтобы умереть, что он казался здоровым и что он ел суп в «Медном чайнике» и платил наличными. Карты у него, говорили, никогда не было ни разу — он просто никогда её не доставал.

К десяти звонили из Данидина, из винного кооператива и из газеты, которую в бухте не выписывал никто, — все спрашивали об одном и том же разными словами, и Хеми отвечал, что протокол в работе.

У «Медного чайника» с утра открыли дверь раньше срока и до вечера держали на плите суп, который никто не заказывал.

Нора стояла у входа в поместье и отвечала на вопросы. Стояла с шести сорока — с того момента, как увидела тело, — и ушла, когда Джесс объявила, что на ветру больше стоять не может.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.